

ГЕРМАН ГЕССЕ

РОСХАЛЬДЕ

Книга, изменившая мир. Писатель, объединивший [illegible].

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА

Росхальде
Герман Гессе

Аннотация
Герман Гессе. РОСХАЛЬДЕ
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая
Глава тринадцатая
Глава четырнадцатая
Глава пятнадцатая
Глава шестнадцатая
Глава семнадцатая
Глава восемнадцатая

Аннотация

Когда талантливый именитый художник Йоханн Верагут покупал имение Росхальде, то надеялся обрести здесь семейное счастье и покой. Но надежды не оправдались: сейчас семилетний сын Пьер — единственное, что связывает супругов, давно ставших друг другу чужими. Верагут, переселившись в мастерскую, с головой погружается в творчество и проводит все время за эскизами и картинами. Его обособленный образ жизни нарушает приезд друга детства Отто Буркхардта с заманчивым предложением сменить обстановку и поехать погостить к нему в Индию…

Герман Гессе
РОСХАЛЬДЕ

© All rights reserved by Suhrkamp Verlag Berlin
© Перевод. Н. Федорова, 2020
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АСТ», 2020

Глава первая

Десять лет назад, когда Йоханн Верагут купил Росхальде и переехал туда, то было заброшенное старое поместье с заросшими садовыми дорожками, замшелыми скамьями, ветхими лестницами и одичалым дремучим парком, и на участке примерно в восемь моргенов[1] стояли тогда лишь красивый, несколько обветшалый господский дом с конюшней да чуть поодаль, в парке, похожий на храм маленький павильон, двери которого из-за погнутых петель перекосились, а стены, некогда обитые голубым штофом, обросли мхом и плесенью.

После покупки имения новый владелец тотчас снес пришедший в ветхость храм, сохранил только десяток старых каменных ступеней, что вели от порога этого любовного гнездышка к берегу озерца. На месте паркового павильончика построили тогда мастерскую Верагута, и на протяжении семи лет он писал там картины и проводил большую часть своих дней, жил, одна-

1 Примечания: 1

Морген — немецкая земельная мера (0,25 га) (здесь и далее примечания переводчика).

ко, в господском доме, пока растущие раздоры в семье не вынудили его отослать старшего сына в иногородние школы, оставить большой дом жене и прислуге, для себя же пристроить к мастерской две комнаты, где он с тех пор и жил холостяком. Жаль, конечно, красивый господский дом; госпожа Верагут с семилетним Пьером занимала лишь верхний этаж, она хотя и принимала посетителей и гостей, но многолюдное общество не собирала никогда, и целый ряд помещений год за годом пустовал.

Маленький Пьер был не только любимцем обоих родителей и единственным связующим звеном меж отцом и матерью, благодаря которому сохранялись хоть какие-то отношения между господским домом и мастерской; собственно говоря, он был также единственным хозяином и собственником Росхальде. Господин Верагут обитал исключительно в своей мастерской и вокруг лесного озерца, а также в давних лесных охотничьих угодьях, жена его хозяйничала в большом доме, ей принадлежали лужайка, липовая и каштановая рощи, и каждый из них появлялся на территории другого лишь изредка и как гость, если не считать трапез, которые художник вкушал большей частью в господском доме. Один лишь

маленький Пьер не признавал это разграничение жизни и раздел территории, даже вряд ли о них догадывался. И в старом, и в новом доме он чувствовал себя одинаково беззаботно, в мастерской и в отцовской библиотеке — так же уютно, как в коридоре и картинной галерее господского дома или в комнатах матери; ему принадлежали земляника в каштановой роще, цветы под липами, рыбы в лесном озерке, купальня, гондола. Он ощущал себя хозяином и подопечным материных горничных, а равно и отцова камердинера Роберта, был сыном хозяйки дома для гостей матери и сыном художника для господ, которые порой приходили в отцову мастерскую и говорили по-французски, а карандашные, живописные и фотографические портреты мальчика висели и в спальне отца, и в старом доме, в оклеенных светлыми обоями комнатах матери. Пьеру жилось очень хорошо, даже лучше, нежели детям, чьи родители живут в добром согласии; воспитание его не подчинялось никакой программе, и если на материной территории у него иной раз земля горела под ногами, он находил надежное прибежище возле лесного озерца.

Мальчик давно уже спал, а после одиннадцати в большом доме погасло последнее освещен-

ное окно. И вот в это время, за полночь, Йоханн Верагут один пешком возвращался из города, где провел со знакомыми вечер в ресторане. По пути, в тепловатой, облачной ночи начала лета, атмосфера вина и дыма, разгоряченного смеха и дерзких шуток развеялась, он глубоко вдыхал чуть упругий, влажный и теплый ночной воздух, сосредоточенно шагая по дороге, окаймленной уже высоко поднявшимися хлебами, навстречу Росхальде, деревья которого безмолвной недвижной массой высились на фоне блеклого ночного неба.

Он миновал ворота усадьбы, но входить не стал, взглянул на господский дом, чей фасад благородно и маняще светлел на фоне черной стены деревьев, всмотрелся в эту прекрасную картину с удовольствием и с отчужденностью случайного путника, затем прошел еще несколько сотен шагов вдоль высокой живой изгороди, до того места, где устроил себе проход и проложил тайную лесную тропинку к мастерской. В напряженных чувствах крепкий невысокий мужчина шел через мрачный, одичалый парк к своему жилищу, которое вдруг явилось его взору там, где темные кроны над водоемом как бы широко расступились, открыв тусклое серое небо.

Средь полной тишины озерцо виделось почти черным, слабый свет лежал на воде, будто бесконечно тонкая пленка или мельчайшая пыль. Верагут посмотрел на часы — без малого час ночи. Отпер боковую дверь маленькой постройки, ведшую в жилую комнату. Там он зажег свечу и быстро разделся, вышел нагишом на воздух и по широким отлогим каменным ступеням медленно спустился в воду, которая на миг взблеснула у его колен легкими мелкими кругами. Он нырнул, немного отплыл от берега, неожиданно почувствовал усталость после непривычного вечера, повернул обратно и, не вытираясь, вернулся в дом. Накинул мохнатый купальный халат, стряхнул воду с коротких волос и босиком поднялся по лесенке в мастерскую, просторное, почти пустое помещение, где несколькими нетерпеливыми движениями немедля включил все электрические лампы.

Он поспешил к мольберту, на котором стоял маленький холст, работа последних дней. Уперев руки в колени, наклонясь, стал перед картиной и устремил широко открытые глаза на поверхность, свежие краски которой отражали яркий свет. Постоял так две-три минуты, в безмолвном созерцании, пока вся работа вплоть до последнего

мазка вновь не ожила перед его взором; за долгие годы он взял в привычку накануне рабочих дней ложиться в постель, непременно унося с собой в сон образ картины, над которой как раз работал. Затем погасил свет, взял свечу и пошел в спальню, где на двери висели грифельная дощечка и мел. «Разбудить в семь, в девять — кофе», — написал он четкой латиницей[2], закрыл за собою дверь и лег в постель. Минуту-другую неподвижно лежал с открытыми глазами, усилием воли вызвав в памяти образ своей работы. Насытившись им, закрыл ясные серые глаза, тихонько вздохнул и быстро погрузился в сон.

Утром Роберт разбудил Верагута в назначенное время, он тотчас встал, в маленьком подсобном помещении умылся над раковиной с холодной проточной водой, надел грубый, изрядно застиранный костюм из серого полотна и прошел в мастерскую, где камердинер уже поднял тяжелые жалюзи. На небольшом столике стояли тарелка с фруктами, графин с водой и ломоть ржаного хлеба, который художник задумчиво взял в руку и надкусил, отойдя к мольберту и глядя на свою картину. Расхаживая по мастерской, он еще

---

2 Примечания: 2

То есть именно не готическим шрифтом, принятым в Германии.

раз-другой откусил хлеба, взял со стеклянной тарелки несколько черешен, заметил на столике письма и газеты, но оставил их без внимания, как завороженный, сразу же устроился на складном стуле перед своей работой.

Небольшая, широкого формата картина изображала раннее утро, вроде того, какое художник видел несколько недель назад в поездке и запечатлел в ряде набросков. Он тогда остановился на маленьком постоялом дворе на Верхнем Рейне, хотел навестить в тех местах коллегу, но не застал его, провел унылый дождливый вечер в дымном трактире и скверную ночь в сырой комнатушке, пропахшей известкой и гнилью. Разгоряченный и в дурном расположении духа он еще до рассвета пробудился от неглубокого сна и, обнаружив, что двери постоялого двора пока на замке, через трактирное окно выбрался наружу; рядом, на берегу реки, отвязал лодку и выгреб на еще сонную, ленивую реку. А когда уже собирался повернуть обратно, увидел, как от противоположного берега навстречу ему тоже плывет гребец, слегка трепещущий холодный свет молочно-дождливого рассвета обтекал темные контуры, и рыбачья лодка казалась не в меру большой. Внезапно до глубины души поражен-

ный и зачарованный этим зрелищем и странным освещением, художник перестал грести, дал незнакомцу приблизиться, тот остановил лодку у поплавка, отмечавшего место лова, и вытащил из прохладной воды вентерь. В нем оказались две широкие, тускло-серебристые рыбины, на миг обе влажно взблеснули над серой рекой, а затем с чавкающим шлепком упали в лодку рыбака. Верагут тотчас окликнул рыбака, попросил его обождать, съездил за рисовальными принадлежностями и сделал акварельный набросок; он задержался еще на день, писал этюды и читал, а наутро спозаранку снова делал у реки эскизы, потом отправился дальше; с тех пор его снова и снова занимала и мучила мысль о картине, пока не обрела форму, и вот теперь он уже который день трудился не покладая рук и уже почти закончил работу. Больше всего он любил писать при ярком солнце или же в теплом, рассеянном лесном и парковом освещении, поэтому текучая серебряная прохлада картины стоила ему больших усилий, однако ж создала и новый колорит, вчера он окончательно нашел удачное решение и теперь чувствовал, что перед ним хорошая, необычная работа, которая не просто запечатлела мгновение и превосходно его отобразила, нет,

здесь мгновение пробило стеклянную поверхность равнодушного загадочного бытия природы, позволяя ощутить могучее необузданное дыхание реальности.

Пристальным взглядом художник всматривался в картину, оценивал оттенки палитры, которая почти вовсе не походила на его обычную и едва ли не полностью утратила красные и желтые тона. Вода и воздух были завершены — по поверхности растекался знобко-холодный, неприятный свет, кусты и береговые сваи тенями плыли во влажном, блеклом сумраке, нереальная и расплывчатая замерла в воде грубая лодка, лицо рыбака было призрачно и безмолвно, лишь его спокойно протянутая за рыбой рука преисполнена неумолимой реальности. Одна рыбина, поблескивая, выпрыгивала через борт лодки, другая лежала плоская и недвижная, а ее открытая круглая пасть и испуганно застывшие глаза полнились тварной скорбью. Все было холодно и до жестокости печально, однако покойно, неприкосновенно и лишено всякой символики, кроме самой простой, без которой произведение искусства существовать не может и которая позволяет нам не только чувствовать, но и с неким сладостным удивлением любить гнетущую непо-

стижимость всей природы.

Художник просидел за работой часа два, когда камердинер постучал в дверь и после рассеянного отклика хозяина вошел с завтраком. Тихонько расставил на столике кофейник, сливочник, чашку и тарелку, аккуратно подвинул стул, молча подождал секунду-другую, затем осторожно произнес:

— Кофе, господин Верагут.

— Иду, — отозвался художник, стирая большим пальцем мазок, только что нанесенный кистью на хвост выпрыгивающей рыбы. — Горячая вода есть?

Он вымыл руки и сел пить кофе.

— Набейте-ка мне трубку, Роберт, — бодро сказал он. — Маленькую, без крышки, она должна быть в спальне.

Камердинер вышел. Верагут с наслаждением пил крепкий кофе, чувствуя, как смутное предощущение обмана и неудачи, которое с недавних пор иной раз охватывало его после напряженной работы, тает словно утренний туман.

Он взял у камердинера трубку, раскурил от поднесенного огня и жадно вдохнул ароматный дым, который усиливал и обострял действие кофе. Потом кивнул на свою картину и сказал:

— Вы ведь в детстве ловили рыбу, Роберт, не правда ли?

— А как же, господин Верагут.

— Взгляните вон на ту рыбу, не на ту, что в воздухе, а на ту, что лежит с открытой пастью. Пасть написана правильно?

— Правильно, — неуверенно ответил Роберт. — Но вам лучше знать, чем мне, — добавил он укоризненным тоном, будто почуял в вопросе насмешку.

— Нет, уважаемый, неправда. То, что человеку положено, он со всей остротой и свежестью переживает лишь в ранней юности, лет до тринадцати-четырнадцати, и питается этим всю жизнь. Мальчиком я никогда не имел дела с рыбой, потому и спрашиваю. Ну так ка́к, правильная у нее пасть или нет?

— Правильная, все на месте, — рассудил польщенный Роберт.

Верагут уже встал и снова принялся выверять свою палитру. Роберт смотрел на него. Он хорошо знал эту возникающую во взгляде сосредоточенность, от которой глаза делались едва ли не стеклянными, знал, что теперь и он, и кофе, и давешний короткий разговор, и все вообще уходит в этом человеке куда-то далеко-далеко и если

окликнуть его через несколько минут, то он как бы пробудится от глубокого сна. Но это опасно. Роберт убрал со стола и заметил нетронутую почту.

— Господин Верагут! — сказал он вполголоса.

Художник был еще достижим. Враждебно и вопросительно оглянулся через плечо, точь-в-точь как утомленный, который уже засыпал, а его опять позвали.

— Тут письма. — С этими словами Роберт вышел.

Верагут нервно выдавил на палитру немного кобальта, бросил тюбик на обитый жестью столик, начал было смешивать, но оклик камердинера отвлекал, и в конце концов он отложил палитру и взял в руки письма.

Обычная деловая корреспонденция, приглашение участвовать в выставке, просьба газетной редакции сообщить кой-какие сведения из его жизни, счет… а затем — вид хорошо знакомого почерка всколыхнул в душе отрадную дрожь, он взял письмо и не спеша прочитал собственное имя и каждое слово адреса, с удовольствием рассматривая свободные, своенравно-энергичные росчерки. Потом постарался разобрать почтовый штемпель. Марка была итальянская, так что письмо наверняка из Неаполя или из Генуи, а

значит, его друг уже в Европе, уже совсем близко и через несколько дней будет здесь.

Растроганный, он вскрыл конверт и с удовлетворением увидел строгие порядки мелких ровных строчек. Если ему не изменяет память, уже лет пять-шесть эти редкие письма от друга из-за границы были для него единственной чистой радостью, единственной, помимо работы и часов, проведенных с малышом Пьером. И, как случалось всякий раз, им и сейчас посреди радостного предвкушения завладело смутное, тягостное чувство стыда, а вместе с ним осознание, сколь убога и безотрадна его жизнь. Он медленно прочитал:

Неаполь, 2 июня, ночью

Дорогой Йоханн!

Как обычно, глоток кьянти с жирными макаронами и вопли уличных торговцев возле трактира — первые знаки европейской культуры, к которой я вновь приближаюсь. Здесь, в Неаполе, за пять лет ничто не изменилось, не в пример Сингапуру или Шанхаю, и мне кажется, это добрый знак, что и дома все в порядке. Послезавтра мы будем в Генуе, там меня

встретит племянник, и я поеду с ним к родне, где на сей раз не жду бурных изъявлений симпатии, ведь, честно говоря, за последние четыре года я не заработал и десяти талеров. На первые претензии семейства я отвожу четыре-пять дней, затем дела в Голландии, опять-таки, скажем, дней пять-шесть, так что у тебя я смогу быть примерно 16-го. Точнее сообщу телеграфом. Знаешь, мне хотелось бы остаться у тебя по крайней мере дней на десять — четырнадцать, помешать тебе в работе. Ты стал ужас как знаменит, и, если то, что ты лет двадцать назад говорил об успехе и славе, хотя бы отчасти справедливо, ты, наверно, здорово закоснел и отупел. Я намерен и картины у тебя купить, а мои вышестоящие сетования на плохие дела — просто попытка сбить твои цены.

Мы становимся старше, Йоханн. В двенадцатый раз я плыл по Красному морю и впервые страдал от жары. Было 46 градусов.

Господи, старина, еще две недели! Приготовь несколько дюжин бутылок

мозельского! Больше четырех лет минуло с нашей последней встречи.

Письмом можно застать меня между 9-м и 14-м в Антверпене, отель «Европейский». Если твои картины выставлены сейчас где-нибудь, где я окажусь проездом, пожалуйста, сообщи!

Твой Отто

Художник радостно перечитал короткое письмо, строки крепких, молодцеватых букв и темпераментных знаков препинания, достал из ящика письменного столика в углу календарь и, изучая его, удовлетворенно кивал головой. Очень кстати: до середины месяца более двух десятков его картин будут выставлены в Брюсселе. Стало быть, друг, острого взгляда которого он слегка побаивался и от которого едва ли укрылись неурядицы его жизни в последние годы, хотя бы получит о нем первое впечатление, каким можно гордиться. Это облегчало ситуацию. Он представил себе, как Отто, одетый с несколько излишним заморским шиком, идет по брюссельскому залу, рассматривая его картины, лучшие его картины, и на миг от души порадовался, что послал их на выставку, хотя на продажу предназначались

из них лишь немногие. И он немедля написал письмецо в Антверпен.

«Отто ничего не забыл, — благодарно думал он, — последний раз мы и правда пили почти одно только мозельское, а однажды вечером даже закатили настоящую пирушку».

Поразмыслив, он пришел к выводу, что в погребе, который сам он навещал крайне редко, мозельского определенно не осталось, и решил сегодня же сделать заказ.

Засим Верагут вновь принялся за работу, однако был рассеян, взбудоражен и не мог вернуться к той чистой сосредоточенности, когда хорошие идеи являются сами, незваные. Он сунул кисть в стакан, положил письмо друга в карман и нерешительно вышел на воздух. Зеркальная гладь озерца слепила глаза, летний день выдался погожий, и озаренный солнцем парк звенел несчетными птичьими голосами.

Он посмотрел на часы — Пьеровы утренние уроки, должно быть, уже закончились — и бесцельно зашагал через парк, рассеянно глядя на бурые, в пятнах солнечного света, дорожки, прислушиваясь к звукам большого дома, миновал площадку с качелями и песочницей, где любил играть Пьер. В конце концов он очутился возле

кухонного огорода и на миг с легким интересом устремил взгляд ввысь, в кроны конских каштанов, в пышной тенистой листве которых еще виднелись последние радостно-светлые свечки цветов. Пчелы с набегающим волнами тихим жужжанием роились над множеством полураскрытых розовых бутонов живой изгороди, сквозь темную листву деревьев долетело несколько ударов маленьких забавных часов на башенке большого дома. Время они отбивали неправильно, и Верагут опять подумал о Пьере, ведь тот полагал своей главной мечтой и делом чести когда-нибудь, когда вырастет, отремонтировать старинные куранты.

Тут за живой изгородью послышались голоса и шаги; в солнечном воздухе сада они приглушенно и мягко слились с жужжанием пчел и песнями птиц, с медленно плывущим в воздухе ароматом дикой гвоздики и цветущей фасоли. То были его жена и Пьер, и Верагут остановился, внимательно прислушиваясь.

— Они еще не поспели, придется тебе денек-другой подождать, — сказала мать.

Смеющийся мальчишечий голосок что-то прощебетал в ответ, и в исполненном ожидания летнем покое безмятежный зеленый мир парка

и мягкие, прозрачные звуки детского говора на мимолетно-нежный миг показались художнику явившимися из далекого сада его собственного детства. Он шагнул к живой изгороди и сквозь ветви заглянул в сад: его жена в утреннем пеньюаре стояла на солнечной дорожке, с цветочными ножницами в руке и легкой коричневой корзинкой на локте. Шагах в двадцати от изгороди, не больше.

Секунду художник смотрел на нее. Высокая фигура с серьезным и разочарованным видом склонилась к цветам, большая мягкая соломенная шляпа целиком затеняла лицо.

— Как называются вон те цветы? — спросил Пьер. Солнце играло в его каштановых волосах, голые ноги, худые и загорелые, стояли на свету, а когда он нагибался, в широком вороте блузы пониже загорелой шеи виднелась белая спина.

— Гвоздики, — сказала мать.

— Да, я знаю, — продолжал Пьер, — но хорошо бы узнать, как их называют пчелы. На пчелином языке у них ведь, наверно, тоже есть название.

— Конечно, но мы его не знаем, оно известно только самим пчелам. Может быть, эти цветы называются у них медовыми.

Пьер задумался.

— Нет, — решительно сказал он. — В клевере меда ничуть не меньше, и в настурциях тоже, не могут же они все цветы называть одинаково.

Мальчик пристально наблюдал за пчелой, которая летала вокруг цветка гвоздики, трепеща крылышками, замерла над ним в воздухе, а затем жадно нырнула в розовую пещерку.

«Медовые цветы!» — пренебрежительно подумал он, не говоря больше ни слова. Он давно знал, что как раз самое красивое и интересное ни знать, ни объяснить невозможно.

Стоя за изгородью и слушая, Верагут смотрел на спокойное, серьезное лицо жены и красивое, нежное, не по годам серьезное личико своего любимца, и сердце его замерло при мысли о тех ле́тах, когда его первый сын был вот таким же ребенком. Он потерял и его, и его мать. Но потерять этого малыша не желал, нет, не желал. Лучше уж воровски подслушивать его из-за изгороди, подманивать и привлекать к себе, но если и этот мальчик отвернется от него, тогда ему, отцу, больше незачем жить.

Он тихонько отступил прочь по травянистой дорожке и продолжил путь под деревьями.

«Праздные прогулки не для меня», — сердито подумал он и постарался взять себя в руки.

Вернулся в мастерскую и, преодолевая неохоту, повинуясь привычной многолетней рутине, восстановил напряженный рабочий настрой, который не позволяет сбиться с пути и направляет все силы на необходимое именно сейчас.

К обеду его ждали в большом доме, и около полудня он тщательно оделся. Побритый, вычищенный, в голубом летнем костюме, он выглядел не то чтобы моложе, но свежее и гибче, нежели в небрежной рабочей одежде, какую носил в мастерской. Он взял соломенную шляпу и как раз собрался открыть дверь, когда она сама распахнулась ему навстречу и вошел Пьер.

Верагут наклонился к мальчику, поцеловал его в лоб.

— Как дела, Пьер? Учитель был молодцом?

— Да, только он очень скучный. Если что-нибудь рассказывает, то не для веселья, а опять же как урок, и в конце всегда выходит, что послушные дети должны вести себя так-то и так-то… Ты писал, папа?

— Да, рыб, знаешь ли. Скоро закончу, и завтра ты все увидишь.

Он взял мальчика за руку и вышел с ним на воздух. Ничто на свете так его не радовало и так не будоражило в нем всю сокровенную доброту

и беспомощную нежность, как ощущение, что он идет рядом с сыном, приноравливаясь к его маленьким шажкам и держа в своей руке легкую, доверчивую руку ребенка.

Когда парк остался позади и они шли через лужайку под тонкими плакучими березками, малыш оглянулся и спросил:

— Папа, а бабочки тебя боятся?

— Почему? Вряд ли. Недавно одна довольно долго сидела у меня на пальце.

— Да, но сейчас их нет. Когда я иной раз иду к тебе совсем один, то в этом месте на дорожке всегда много-много бабочек, я знаю, они называются голубянки, и они меня знают, всегда порхают вокруг, совсем рядом со мной. А кормить бабочек можно?

— Можно, конечно, в следующий раз обязательно попробуем. Надо капнуть на ладонь меду и спокойно вытянуть руку, бабочки непременно прилетят и станут пить мед.

— Замечательно, папа, давай попробуем. Ты ведь скажешь маме, чтобы она дала мне немножко меда, да? Тогда она будет знать, что он мне вправду нужен и что это не глупая забава.

Пьер первым вбежал в открытые двери дома и поспешил дальше по широкому коридору, и меж

тем как его ослепший после яркого света отец еще искал в прохладном сумраке шляпную стойку и нащупывал дверь столовой, мальчик давно уже был в комнате и осаждал мать своей просьбой. Художник вошел, подал руку жене. Она была чуть выше его, крепкая, здоровая, но без юношеской живости, и, хотя уже не любила мужа, однако до сих пор считала утрату его нежности печально непостижимым, незаслуженным несчастьем.

— Можно садиться за стол, — сказала она, по обыкновению спокойно, — Пьер, ступай вымой руки!

— Вот тебе новость, — начал художник, протянув ей письмо своего друга. — Скоро приедет Отто, и я надеюсь, погостит у нас достаточно долго. Ты ведь не против?

— Господин Буркхардт может занять две нижние комнаты, там ему никто не помешает, он может приходить и уходить когда вздумается.

— Вот и отлично.

— Я думала, он приедет гораздо позже, — помедлив, добавила жена.

— Он выехал раньше, до сегодняшнего дня я тоже об этом не знал. Ну да тем лучше.

— Просто здесь будет еще и Альбер.

Легкая радость стерлась с лица Верагута, голос

стал холодным, когда он услышал имя сына.

— Что с Альбером? — нервно вскричал он. — Он же собирался со своим другом в Тироль.

— Я не хотела говорить тебе, пока нет необходимости. Его друга пригласили родственники, и от пешего похода он отказался. Альбер приедет, как только начнутся каникулы.

— И все время будет здесь?

— Думаю, да. Я могла бы на неделю-другую уехать с ним, но тебе это будет неудобно.

— Почему? Я бы взял Пьера к себе.

Госпожа Верагут пожала плечами:

— Прошу тебя, не начинай! Ты же знаешь, я не могу оставить Пьера здесь одного.

Художник рассердился.

— Одного! — воскликнул он. — Он не один, когда находится со мной.

— Я не могу оставить его здесь и не хочу. Бесполезно сызнова спорить об этом.

— Разумеется, ты не хочешь!

Он умолк, так как вернулся Пьер, и все пошли обедать. Мальчик сидел между двумя отчужденными людьми, оба ухаживали за ним и развлекали, как он привык, и отец старался затянуть обед, потому что потом малыш останется при матери и, может статься, больше не зайдет

сегодня в мастерскую.

Глава вторая

В комнатушке подле мастерской Роберт отмывал палитру и пучок кистей. Неожиданно в открытых дверях появился маленький Пьер. Остановился и стал смотреть.

— Грязная работа, — объявил он немного погодя. — Вообще, писать картины, конечно, здорово, но мне совершенно не хочется стать художником.

— Ну, ты еще подумай хорошенько, — сказал Роберт. — Отец-то у тебя знаменитый художник.

— Нет, — решительно произнес мальчик, — это не для меня. Ходишь все время грязный, и пахнут краски ужас как сильно. Немножко понюхать мне очень нравится, например, когда картина совсем новая, когда она висит в комнате и совсем чуть-чуть пахнет краской, но в мастерской, это уж слишком, у меня голова разболится.

Камердинер испытующе посмотрел на него. Вообще-то он давно хотел высказать избалованному мальчику свое мнение, ведь ему было в чем его упрекнуть. Но когда Пьер приходил сюда и Роберт смотрел ему в лицо, как-то язык не

поворачивался. Малыш был такой свеженький, хорошенький и серьезный, будто в нем и с ним все в полном порядке, и как раз эта легкая нотка барской надменности или не по годам большого ума странным образом весьма ему шла.

— А кем ты, собственно, хочешь быть, дружок? — спросил Роберт с некоторой строгостью.

Пьер опустил взгляд и задумался.

— Ах, вообще-то никем в особенности, знаешь ли. Только хотел бы закончить школу. А летом хотел бы носить только совсем белое платье и белые башмаки, и чтоб на них никогда не было ни единого пятнышка.

— Вон оно что, — с укором сказал Роберт. — Это ты сейчас так говоришь. А давеча, когда был у нас, все твое белое платье мигом оказалось в пятнах от вишен и травы, а шляпу ты вовсе потерял. Помнишь?

Пьер холодно прищурил глаза до узеньких щелочек и смотрел сквозь длинные ресницы.

— За это мама тогда сильно меня выбранила, — медленно проговорил он, — и я не думаю, чтобы она поручила тебе мучить меня напоминаниями об этом.

Роберт уже пошел на попятный:

— Хочешь, стало быть, всегда ходить в белом и

не пачкаться?

— Ну, иногда. Ты совершенно меня не понимаешь! Конечно, иногда мне хочется поваляться в траве или в сене, или прыгать через лужи, или залезть на дерево. Это же ясно. Но когда я пошумлю и немного побалуюсь, мне совсем не хочется, чтобы меня ругали. Мне хочется просто тихонько пойти к себе в комнату, надеть чистое, свежее платье и чтобы все опять было хорошо… Знаешь, Роберт, я правда думаю, что ругаться никак не стоит.

— Тебя бы это устроило, да? Почему же?

— Ну, сам посуди: если сделаешь что-нибудь нехорошее, то ведь и сам быстро понимаешь и стыдишься. Когда меня бранят, я стыжусь гораздо меньше. А иногда бранят, когда я вообще ничего плохого не делал, просто оттого, что сразу не пришел, когда позвали, или оттого, что мама в дурном настроении.

— А ты сложи-ка все вместе, мой мальчик, — рассмеялся Роберт, — ведь плохого-то, чего никто не видит и за что никто тебя не бранит, ты делаешь ничуть не меньше.

Пьер не ответил. Всегда одно и то же. Только заговоришь с взрослым о чем-нибудь, что тебе вправду важно, как все непременно кончается

разочарованием, а то и унижением.

— Я бы хотел еще разок увидеть картину, — сказал он тоном, который тотчас отдалил его от слуги и который Роберт мог счесть как просительным, так и властным. — Пусти меня на минутку в мастерскую, а?

Роберт подчинился. Отпер дверь мастерской, впустил Пьера и вошел сам, потому что ему было строго-настрого запрещено оставлять там кого-нибудь в одиночестве.

Посредине большого помещения стояла на мольберте хорошо освещенная, вставленная во временную золотую раму новая картина Верагута. Пьер стал перед нею. Роберт — у него за спиной.

— Тебе нравится, Роберт?

— Понятное дело, нравится. Я ж не дурак!

Пьер, прищурясь, смотрел на картину.

— Если бы мне показали много-много картин, — задумчиво сказал он, — я бы тотчас увидел, есть ли среди них папина. Эти картины мне потому и нравятся, я чувствую, что их написал папá. Хотя вообще-то они нравятся мне не совсем.

— Не говори глупости! — испуганно вскричал Роберт, с укоризной глядя на мальчика, который по-прежнему неподвижно, мигая ресницами,

стоял перед картиной.

— Видишь ли, — сказал он, — в большом доме есть несколько старых картин, вот они нравятся мне куда больше. Позднее я себе заведу такие. Например, горы, когда солнце заходит и все совершенно алое и золотое, и хорошенькие детишки, и женщины, и цветы. Это ведь куда милее, чем этакий старый рыбак, у которого по-настоящему даже лица нет, и скучная черная лодка, да?

В глубине души Роберт полностью разделял его мнение и подивился искренности мальчика, которая, сказать по правде, его обрадовала. Но он не подал виду.

— Ты еще толком не понимаешь, — коротко сказал он. — Пойдем, надобно опять запереть мастерскую.

В этот миг со стороны большого дома неожиданно донесся шум — пыхтение и хруст.

— Ой, автомобиль! — радостно воскликнул Пьер, выскочил вон и помчался под каштанами, наперекор всем запретам прямо по лужайкам, перепрыгивая через цветочные клумбы. Запыхавшись, он выбежал на засыпанную гравием площадку перед домом, как раз когда из автомобиля вышли его отец и какой-то незнакомый господин.

— Привет, Пьер! — вскричал отец, заключив его в объятия. — К нам приехал дядюшка, который тебе незнаком. Подай ему руку и спроси, откуда он.

Мальчик не сводил глаз с незнакомца. Подал ему руку, всмотрелся в загорелое лицо и светлые, веселые, серые глаза.

— Откуда ты приехал, дядюшка? — послушно спросил он.

Незнакомец подхватил его на руки.

— Малыш, какой ты стал тяжелый! — воскликнул он, бодро вздохнув, и поставил Пьера наземь. — Откуда я? Из Генуи, а прежде из Суэца, а еще прежде из Адена, а еще прежде из…

— О, из Индии, я знаю, знаю! Ты — дядюшка Отто Буркхардт. Ты привез мне тигра или кокосовые орехи?

— Тигр от меня сбежал, но кокосовые орехи ты получишь, а вдобавок ракушки и китайские картинки.

Они вошли в дом, и Верагут повел Буркхардта вверх по лестнице. Он ласково положил руку на плечо друга, который был изрядно выше его. В верхнем коридоре им навстречу вышла хозяйка дома. Она тоже с умеренной, но искренней сердечностью приветствовала гостя, чье ожив-

ленное, пышущее здоровьем лицо напомнило ей невозвратные веселые времена минувших лет. Буркхардт на миг задержал ее руку в своей, всмотрелся в ее лицо.

— Вы ничуть не постарели, госпожа Верагут, — с похвалою воскликнул он, — не то что Йоханн.

— И вы нисколько не изменились, — приветливо ответила она.

Он рассмеялся:

— О да, фасад по-прежнему цветущий, но от танцев я все же мало-помалу отказался. Они и без того ни к чему не привели, я по-прежнему холост.

— Надеюсь, на сей раз вы приехали присмотреть себе невесту.

— Нет, сударыня, с этим я уже опоздал. Да и не хочу испортить себе удовольствие от прекрасной Европы. Как вам известно, у меня много родни, и я мало-помалу превращаюсь в этакого богатого дядюшку. С женой я бы не рискнул появиться на родине.

В комнатах госпожи Верагут накрыли кофе. Пили кофе с ликером, беседовали — о морском путешествии, о каучуковых плантациях, о китайском фарфоре. Художник поначалу молчал и был несколько подавлен, в этих комнатах он не

бывал уже много месяцев. Но все шло хорошо, и в присутствии Отто в доме словно бы воцарилась более легкая, более радостная, более ребячливая атмосфера.

— Думаю, моя жена хотела бы теперь немного отдохнуть, — наконец сказал художник. — Я покажу тебе твои комнаты, Отто.

Они откланялись и спустились вниз. Верагут приготовил для друга две гостевые комнаты и обо всем устройстве позаботился сам, расставил мебель и не забыл ничего, от картин на стенах до книг на полке. Над кроватью висела старая, поблекшая фотография, забавно трогательный институтский снимок семидесятых годов. Она бросилась гостю в глаза, и он подошел поближе, чтобы рассмотреть ее.

— Господи, — с удивлением воскликнул он, — это же мы в ту пору, все шестнадцать! Старина, ты меня растрогал. Я лет двадцать не видел эту фотографию.

Верагут улыбнулся:

— Я так и думал, что тебе понравится. Надеюсь, здесь найдется все необходимое. Хочешь сразу распаковать вещи?

Буркхардт вальяжно уселся на огромный, с медными уголками морской рундук и с удоволь-

ствием обвел взглядом комнату.

— Как здесь хорошо. А где ты обитаешь? Рядом? Или наверху?

Художник потеребил ручку кожаной сумки и просто сказал:

— Нет. Я теперь живу подле мастерской. Пристройку поставил.

— После непременно покажешь. Но… ты что же, и ночуешь там?

Верагут оставил сумку, повернулся к нему:

— Да, там и ночую.

Его друг задумчиво молчал. Потом вытащил из кармана большую связку ключей, которые громко забренчали.

— Давай-ка немножко распакуем, а? Если хочешь, сходи за мальчуганом, он получит удовольствие.

Верагут вышел и вскоре вернулся с Пьером.

— Какие у тебя красивые чемоданы, дядюшка Отто, я их уже рассмотрел. И столько наклеек на них. Несколько я прочитал. На одной написано — Пинанг. Что это такое — Пинанг?

— Это город в Индокитае, где я иногда бываю. На-ка, держи, можешь отпереть вот этот.

Он вручил мальчику плоский ключ с множеством бородок и позволил отпереть замки одного

из чемоданов. Потом подняли крышку, и первое, что лежало сверху и бросалось в глаза, была перевернутая вверх дном неглубокая корзинка пестрого малайского плетения, ее вытащили и освободили от бумаги, а внутри, меж бумаги и тряпок, обнаружились сказочно красивые ракушки, какие можно купить в экзотических портовых городах.

Пьер получил ракушки в подарок и притих от счастья, а за ракушками последовал большой слон эбенового дерева, и китайская игрушка со смешными подвижными деревянными фигурками, и, наконец, свиток ярких, красочных китайских картинок, с божествами, демонами, царями, воинами и драконами.

Пока художник помогал восхищенному мальчику рассматривать все эти вещи, Буркхардт распаковал кожаную сумку и распределил в спальне по местам ночные туфли, белье, щетки и тому подобное. Затем он вернулся к отцу и сыну.

— Ну вот, — ободряюще сказал он, — на сегодня поработали достаточно. Теперь настал черед удовольствий. Не сходить ли нам в мастерскую?

Пьер поднял глаза и снова, как возле автомобиля, с удивлением всмотрелся в оживленное, радостно помолодевшее лицо своего отца и с

похвалою воскликнул:

— Какой ты веселый, папа!

— О да, — кивнул Верагут.

Друг его, однако, спросил:

— Он что же, обычно не такой веселый?

Пьер смущенно переводил взгляд с одного на другого.

— Не знаю, — неуверенно сказал он. Потом засмеялся и решительно добавил: — Нет, таким веселым ты еще никогда не бывал.

С корзинкой ракушек он убежал. Отто Буркхардт взял друга за локоть и вместе с ним вышел на воздух. Они зашагали через парк и в конце концов добрались до мастерской.

— Н-да, немало пристроили, — сказал Буркхардт, — кстати, выглядит весьма мило. Когда ты все это сделал?

— Года три назад, кажется. Мастерскую я тоже расширил.

Буркхардт огляделся по сторонам.

— Этому озеру просто цены нет! Вечерком надо будет немножко поплавать. Благодать у тебя тут, Йоханн. Но сейчас я должен увидеть мастерскую. Есть новые картины?

— Не много. Но одну, я только позавчера ее закончил, ты непременно должен увидеть. По-

моему, она хороша.

Верагут отпер дверь. В высоком помещении было по-праздничному чисто, пол свежевыскоблен, все разложено по порядку. Посредине одиноко стояла новая картина. Молча они остановились перед нею. Влажно-холодная, вязкая атмосфера пасмурного, дождливого раннего утра совершенно не вязалась с ясным светом и жарким, напоенным солнцем воздухом, что вливался в открытую дверь. Оба долго рассматривали работу.

— Это последняя написанная тобой?

— Да. Рама нужна другая, в остальном делать больше нечего. Нравится?

Друзья испытующе смотрели друг на друга. Высокий и сильный Буркхардт с его свежим лицом и теплыми, жизнерадостными глазами, словно большой ребенок, стоял перед безвременно поседевшим художником, который сверлил его острым и строгим взглядом.

— Пожалуй, это лучшая твоя картина, — медленно проговорил гость. — Я видел те, что выставлены в Брюсселе, и еще две в Париже. Никак не думал, но за несколько лет ты шагнул далеко вперед.

— Рад слышать. И сам тоже так думаю. Я старался, и иногда мне кажется, что раньше я,

собственно говоря, был всего лишь дилетантом. Работать по-настоящему научился поздновато, но вот теперь вполне овладел умениями. Дальше, пожалуй, уже не шагну. Ничего лучше этого не смогу написать.

— Понимаю. Ну да ведь ты снискал и большую известность, даже на наших старых восточноазиатских пароходах я слышал разговоры о тебе и весьма возгордился. Так какова же она на вкус, известность? Радует тебя?

— Я бы не сказал, что радует. Скорее она в порядке вещей. Среди нынешних художников найдется два-три-четыре таких, что, пожалуй, превосходят меня и могут дать больше, чем я. К совсем уж великим я себя никогда не причислял, а что там говорят литераторы, так это, конечно, полная чепуха. Я могу требовать серьезного к себе отношения и, когда меня воспринимают всерьез, вполне доволен. Все прочее — газетная слава или вопрос денег.

— Н-да. Но что ты имеешь в виду, говоря о совсем уж великих?

— Как что? Королей и князей. Наш брат становится генералом или министром, и это предел. Видишь ли, мы лишь умеем быть прилежными и относиться к природе со всей возможной

серьезностью. Короли же, они природе братья и товарищи, они играют ею и способны сами творить там, где мы лишь копируем. Впрочем, короли — редкость, не каждое столетие рождает хотя бы одного.

Они расхаживали по ателье. Художник, подыскивая слова, напряженно смотрел в пол, друг шел рядом, пытаясь читать в загорелом, худом, костистом лице Йоханна.

У двери в соседнюю комнату Отто остановился.

— Открой-ка, — попросил он, — дай мне увидеть комнаты. И угости сигарой, ладно?

Верагут отворил дверь. Они прошли через комнату, заглянули в соседние. Буркхардт закурил сигару. Заглянул в маленькую спальню друга, увидел кровать, внимательно осмотрел все скромные помещения, где повсюду лежали инструменты живописи и курительные принадлежности. Обстановка едва ли не скудная, и говорила она о трудах и аскезе, примерно как маленькое жилище бедного, работящего холостяка.

— Вот, значит, где ты обосновался! — сухо обронил он. Но видел и чувствовал все, что происходило здесь в минувшие годы. С удовлетворением отметил предметы, связанные со спортом, гимнастикой, верховой ездой, однако

был огорчен отсутствием малейших признаков уюта, мало-мальского комфорта и гедонистического досуга.

Засим они вернулись к картине. Стало быть, вот так возникли картины, что висели повсюду на выставках и в галереях на почетных местах и стоили больших денег; они создавались здесь, в этих комнатах, которым ведомы лишь труд и самоотречение, где не найдешь ничего праздничного, ничего бесполезного, ни милых безделушек и иных мелочей, ни аромата вина и цветов, ни воспоминания о женщинах.

Над узкой кроватью пришпилены две фотографии без рамок — на одной малыш Пьер, на другой Отто Буркхардт. Тот, конечно, сразу заметил плохонький любительский снимок, он был изображен в тропическом шлеме, на фоне веранды своего индийского дома, но ниже груди все расплывалось в загадочные белые полосы, потому что пластинка оказалась засвечена.

— Мастерская теперь очень красивая. И вообще, ты сделался таким прилежным! Дай руку, дружище, как славно вновь видеть тебя! А сейчас я устал и потому на часок исчезну. Заглянешь ко мне попозже? Искупаемся и погуляем? Вот и ладно, спасибо. Нет, мне ничего не требуется,

через час я опять буду all right[3]. До встречи!

Он не спеша пошел прочь под сенью деревьев, а Верагут, провожая друга взглядом, думал о том, какая уверенность и спокойная жизнерадостность исходит от его фигуры, от походки, от каждой складки одежды.

Буркхардт меж тем был уже в большом доме, однако у своих комнат не задержался, прошел дальше, к лестнице, поднялся наверх и постучал к госпоже Верагут.

— Я помешал или могу ненадолго составить компанию?

Она с улыбкой впустила его, и эта мимолетная, непривычная улыбка на крупном, тяжелом лице показалась ему странно беспомощной.

— Чудесно здесь, в Росхальде. Я уже побывал в парке и на озере. А Пьер как вырос! Прелестный ребенок, я едва не пожалел, что остался холостяком.

— Мальчик хорош собой, не правда ли? Как вы находите, он похож на моего мужа?

— Немножко, да. Хотя, пожалуй, все-таки больше чем немножко. В таком возрасте я Йоханна не знал, но довольно хорошо помню, каким он

---

3 Примечания: 3
В порядке (*англ.*).

был в одиннадцать-двенадцать лет… Кстати, он кажется немного переутомленным. Простите? Нет, я о Йоханне. В последнее время он очень много работал?

Госпожа Адель посмотрела ему в лицо, чувствуя, что ему хочется выспросить ее.

— Думаю, да, — спокойно ответила она. — Он очень редко говорит о своей работе.

— Что он сейчас пишет? Пейзажи?

— Он часто работает в парке, большей частью с натурщиками. Вы видели его картины?

— Да, в Брюсселе.

— Он выставил свои работы в Брюсселе?

— Разумеется, и довольно много. Я привез с собой каталог. Дело в том, что я хочу купить одну из его картин и с удовольствием послушал бы ваше мнение.

Буркхардт подал ей брошюру и указал на одну из маленьких репродукций. Она рассмотрела изображение, перелистала брошюру и вернула ему.

— Придется вам положиться на собственное мнение, господин Буркхардт, мне эта картина незнакома. Думаю, он написал ее минувшей осенью в Пиренеях и сюда вообще не привозил. — Она помолчала и заговорила о другом: — Вы

сделали Пьеру столько подарков, так мило с вашей стороны. Спасибо.

— О, пустяки. Но позвольте мне и вам тоже вручить на память азиатские сувениры. Хотите? Я привез кой-какие ткани, которые с удовольствием покажу вам, и вы сами выберете то, что вам понравится.

Буркхардт сумел превратить ее вежливые отнекивания в небольшую шутливо-галантную словесную баталию и привести неприступную женщину в доброе расположение духа. Из своей сокровищницы он принес целую охапку индийских тканей, раскинул малайские батики и материи ручной работы, разложил на спинках и подлокотниках кресел кружева и шелка, оживленно рассказывал, где приметил и купил то-то и то-то, почти за бесценок, — словом, устроил веселый пестрый базарчик. Спрашивал ее мнения, набрасывал кружево ей на руки, объяснял, как оно сделано, и уговаривал развернуть самые красивые ткани, пощупать, похвалить и, наконец, принять в подарок.

— Полноте, — в конце концов рассмеялась она, — я же пущу вас по миру! Никак нельзя мне оставить себе все.

— Не беспокойтесь, — тоже со смехом отозвался

Буркхардт. — Недавно я опять высадил шесть тысяч каучуковых деревьев и вскоре поистине стану набобом.

Когда Верагут пришел за ним, он нашел обоих за живейшей беседой. С удивлением отметил словоохотливость жены и после тщетной попытки включиться в разговор несколько неуклюже принялся рассматривать подарки.

— Оставь, это же дамские штучки, — воскликнул его друг, — пойдем-ка лучше купаться! — И увлек Верагута на воздух.

— Твоя жена в самом деле ничуть не постарела, с тех пор как я видел ее последний раз, — начал Отто по дороге. — Вот только что она была куда как весела. Значит, у вас все более-менее в порядке? Недостает только старшего сына. Что он поделывает?

Художник пожал плечами и нахмурился:

— Ты его увидишь, он приедет на днях. Я ведь писал тебе.

Он вдруг остановился, наклонился к другу, пристально посмотрел ему в глаза и тихо сказал:

— Ты все увидишь, Отто. Говорить об этом нет нужды. Сам все увидишь… Будем веселиться, пока ты здесь, старина! А теперь идем к озерцу, хочу опять поплавать с тобой наперегонки, как

в детстве.

— А что, давай, — кивнул Буркхардт, словно бы не замечая нервозности Йоханна. — И ты победишь, дорогой мой, хотя раньше побеждал не всегда. Увы и ах, но я вправду обзавелся брюшком.

Свечерело. Озерцо целиком лежало в тени, высоко в кронах деревьев играл легкий ветерок, а по синеве узкого небесного островка, который оставался открыт над водою, летели легкие лиловые облачка, все одинаковой формы, братской вереницей, тонкие, продолговатые, как листья ивы. Мужчины стояли перед спрятанной в кустах раздевальной кабинкой, замок которой никак не открывался.

— Бог с ним, с замком! — воскликнул Верагут. — Проржавел вконец, мы кабинкой не пользуемся.

Он начал раздеваться, Буркхардт последовал его примеру. Когда оба уже готовые стояли на берегу и на пробу окунули пальцы ног в спокойную, тенистую воду, на них обоих тотчас сладко повеяло счастьем далеких мальчишечьих лет, на миг они замерли, предвкушая легкую, восхитительную дрожь купанья, и в их душах тихонько раскрылась светлая зеленая долина летних месяцев ранней юности, так что оба умолкли и,

непривычные к нежным чувствам, едва ли не смущенно погрузили ноги поглубже, наблюдая искристый бег полукружий на буро-зеленой глади. Буркхардт быстро шагнул в воду.

— Ах, как хорошо, — с наслаждением выдохнул он. — Кстати, мы оба пока парни хоть куда, если не считать моего брюшка, вполне молодцы.

Сделав несколько гребков, он встряхнулся и нырнул.

— Ты сам не знаешь, как тебе повезло! — с завистью воскликнул он. — На моих плантациях протекает очень красивая река, но если сунешь в воду ногу, больше ты эту ногу не увидишь. Окаянные крокодилы там кишмя кишат. Ну, вперед, за большой кубок Росхальде! До лестницы и обратно. Готов? Раз… два… три!

С шумным плеском оба поплыли, смеясь, в умеренном темпе, но дуновение садов юности еще не развеялось, и скоро они всерьез принялись соперничать, лица напряглись, глаза засверкали, руки, взблескивая, широкими взмахами взлетали из воды. Одновременно они достигли лестницы, одновременно опять оттолкнулись и тем же путем устремились обратно, теперь художник сильными гребками вырвался вперед, опередил соперника и добрался до берега чуть раньше.

Переводя дух, они стояли в воде, протирали глаза и в безмолвной радости смеялись, глядя друг на друга, и обоим казалось, что лишь теперь они вновь старые товарищи и лишь теперь маленькая фатальная пропасть непривычности и отчуждения меж ними начинает исчезать.

Одевшись, оба, посвежевшие и умиротворенные, сидели на плоских каменных ступенях лестницы, спускавшейся к озеру. Смотрели на темное водное зеркало, которое по другую сторону овальной бухты, окруженной навесом густых зарослей, уже тонуло в исчерна-буром сумраке, прямо из коричневого бумажного пакета ели мясистые светло-красные черешни, принесенные камердинером, с чистым сердцем встречали наступающий вечер, меж тем как горизонтальные лучи низкого солнца светили сквозь чащу стволов и золотистыми огоньками играли на прозрачных крыльях стрекоз. Не умолкая и не задумываясь, целый час болтали о школьных временах, об учителях и тогдашних одноклассниках и кем стал тот или другой из них.

— Господи, — сказал Отто Буркхардт спокойно-бодрым голосом, — как же давно это было. Не знаешь, что сталось с Метой Хайлеман?

— О-о, Мета Хайлеман! — с жаром подхватил Ве-

рагут. — Ничего не скажешь, красивая девушка. У меня во всех тетрадях были ее портреты, которые я на уроках тайком рисовал на промокашках. Волосы мне никогда толком не удавались. Помнишь, она заплетала косы и укладывала их двумя толстыми баранками на ушах.

— Ты что-нибудь о ней знаешь?

— Ничего. Когда я первый раз вернулся из Парижа, она была помолвлена с неким адвокатом. Я встретил ее и ее брата на улице и, помнится, очень разозлился, оттого что сразу покраснел и, несмотря на усы и парижскую искушенность, снова почувствовал себя мальчишкой-школьником… Только вот звали ее Мета! Я терпеть не мог это имя!

Буркхардт мечтательно покачал круглой головой.

— Ты был недостаточно влюблен, Йоханн. Для меня Мета звучало как музыка, по мне, так ее могли бы звать и Евлалией, я бы все равно шагнул в костер ради одного ее взгляда.

— О, я тоже был предостаточно влюблен. Однажды, когда я возвращался домой после нашей вечерней прогулки — я нарочно припоздниился, хотел побыть один и думать только о Мете, больше ни о чем, и меня ничуть не трогало, что дома

ждет наказание, — она неожиданно вышла навстречу, возле круговой стены. Шла она под руку с подругой, а поскольку я вдруг невольно представил себе, как бы все было, окажись я вместо этой дурехи под руку с нею, близко-близко, голова у меня закружилась, я вконец растерялся и на миг привалился к стене, а когда наконец явился домой, дверь уже заперли, пришлось звонить в звонок и потом целый час сидеть под арестом.

Буркхардт улыбнулся, думая о том, что оба они при нечастых своих встречах уже не раз вспоминали Мету. Тогда, в юности, они старательно и хитро скрывали друг от друга свою любовь, и лишь взрослыми людьми спустя годы приоткрывали порой завесу тайны и делились мелкими переживаниями. И все же в этом деле до сих пор существовали секреты. Вот и сейчас Отто Буркхардту невольно вспомнилось, что он тогда несколько месяцев бережно хранил перчатку Меты, которую нашел или, точнее, похитил, а его друг поныне даже не подозревал об этом. Может быть, рассказать ему? — подумал он, но в конце концов лукаво улыбнулся и решил, что лучше оставить это маленькое последнее воспоминание при себе.

Глава третья

В пронизанной солнечным светом беседке с западной стороны мастерской сидел Буркхардт, он удобно откинулся назад в желтом плетеном кресле, сдвинул широкополую панаму на затылок, курил и читал журнал, а неподалеку на низком складном стульчике устроился перед мольбертом Верагут. Он уже набросал крупными, уверенными мазками фигуру читающего и теперь писал лицо; вся картина радовала глаз светлыми, легкими, напоенными солнцем, но гармоничными тонами. В воздухе стоял пряный дух масляных красок и дыма гаванской сигары, птицы, затаясь в листве, порой, как обычно в полдень, негромко щебетали, напевно, дремотно-мечтательно переговариваясь друг с другом. Пьер сидел в траве, с большой географической картой, по которой его тонкий указательный палец совершал задумчивые путешествия.

— Не спать! — напомнил художник.

Буркхардт прищурился и, с улыбкой глядя на него, покачал головой.

— Где ты сейчас, Пьер? — спросил он у маль-

чика.

— Погоди, сейчас прочту, — бойко отозвался Пьер и по слогам прочитал на карте: — В Лю… в Лю… в Люцерне. Там озеро или море. Оно больше нашего, дядюшка?

— Намного больше! Раз в двадцать! Тебе надо непременно там побывать.

— Да, конечно. Когда у меня будет автомобиль, я поеду в Вену, и в Люцерн, и на Северное море, и в Индию, туда, где твой дом. А ты тогда будешь дома?

— Разумеется, Пьер. Я всегда дома, когда ко мне приезжают гости. Сперва мы навестим мою обезьяну, ее зовут Пендек, у нее нет хвоста, зато есть белоснежные бакенбарды, а потом возьмем ружья, поплывем на лодке по реке и застрелим крокодила.

Стройная фигурка Пьера весело покачивалась из стороны в сторону. А дядюшка тем временем рассуждал о расчистке малайских джунглей и говорил так красиво и так долго, что мальчик в конце концов притомился и перестал следить за рассказом. Он рассеянно изучал свою карту, а вот отец его с все большим вниманием слушал говорливого друга, который с непринужденным удовольствием рассказывал о трудах и охоте, о

конных и лодочных вылазках, о красивых местных деревушках из легкого бамбука, об обезьянах, цаплях, орлах, бабочках, и его спокойная, уединенная жизнь в тропическом лесу представала столь соблазнительной и уютной, что художнику казалось, будто он сквозь щелку заглядывает в изобильные, многоцветно-прекрасные, блаженные райские кущи. А друг все рассказывал — о тихих величавых реках среди джунглей, о высоких, как деревья, зарослях папоротников, о привольных ветреных равнинах, заросших высокой, в рост человека, травою лаланг, о красочных вечерах на морском берегу, откуда открывается вид на коралловые острова и синие вулканы, о неистовых ливнях и пламенных грозах, о мечтательно-живописных сумерках знойных дней на просторных тенистых верандах белых плантаторских домов, о лабиринте улочек в китайских городах и о вечернем отдыхе малайцев у мелководного каменного бассейна перед мечетью.

Вновь, как уже иной раз случалось, фантазия Верагута бродила на далекой родине друга, и он знать не знал, насколько этот соблазн и тихая чувственность его души созвучны скрытым умыслам Буркхардта. Не только сверканье тропических морей и островных побережий, изобильность

лесов и рек, живописность полуголых дикарей рождали в нем тоску и пленяли своими образами. Намного больше его привлекали отдаленность и покой мира, где все его страдания, заботы, борения и лишения станут ему чужды, отступят вдаль и поблекнут, где душа стряхнет сотни мелких будничных тягот и его примет новая атмосфера, где нет ни вины, ни страдания.

Послеполуденные часы уходили один за другим, тени двигались, становились длиннее. Пьер давно убежал, Буркхардт мало-помалу умолк и в конце концов задремал, но картина была почти готова, и художник ненадолго закрыл усталые глаза, опустил руки и минуту-другую с почти болезненной алчностью впивал глубокую солнечную тишь этого часа, близость друга, умиротворенную усталость после удачной работы и расслабленность истомленных нервов. Наряду с хмельным восторгом начала и беспощадного труда такие минуты давным-давно стали для него самым глубоким и самым утешительным наслаждением, тихие минуты усталой расслабленности, напоминающие спокойно-дремотные бессознательные состояния меж сном и пробуждением.

Он тихонько встал, чтобы не разбудить Бурк-

хардта, и бережно отнес холст в мастерскую. Снял холщовый рабочий халат, вымыл руки и ополоснул холодной водой слегка перенапряженные глаза. Четверть часа спустя он снова вышел на воздух, секунду-другую испытующе вглядывался в лицо спящего гостя, а потом разбудил его давним свистом, который они еще двадцать пять лет назад уговорились считать своим тайным сигналом и опознавательным знаком.

— Коли ты выспался, дружище, — ободряющим тоном попросил он, — то мог бы сейчас еще немножко рассказать мне о дальних странах, ведь за работой я мог слушать только вполуха. Ты еще упомянул о фотографиях; если они у тебя с собой, можно ли их посмотреть?

— Конечно, можно, идем!

Этого часа Отто Буркхардт ждал уже несколько дней. Много лет он мечтал когда-нибудь заманить Верагута с собой в Восточную Азию и удержать его там при себе хотя бы на время. На сей раз, поскольку ему казалось, что другого случая более не представится, он заранее тщательнейшим образом все продумал. И теперь, в свете гаснущего дня, когда оба, сидя в комнате Буркхардта, говорили об Индии, он доставал из чемодана все новые альбомы и папки с фотографиями. Художник

был восхищен и удивлен их обилием, Буркхардт же оставался спокоен и словно бы не придавал особенного значения множеству снимков, но втайне все-таки с огромным напряжением ждал их воздействия.

— Какие чудесные снимки! — восклицал Верагут в полном восторге. — Ты все сделал сам?

— Отчасти, — сухо отвечал Буркхардт, — некоторые сделаны моими тамошними знакомыми. Просто мне хотелось дать тебе хоть самое малое представление о краях, где мы живем.

Он сказал это как бы невзначай, равнодушно складывая фотографии в стопки, и Верагут даже заподозрить не мог, как заботливо и старательно он приготовил свое собрание. Долгие недели он не расставался с молодым английским фотографом из Сингапура, а затем с японцем из Бангкока, и в ходе множества вылазок и путешествий повсюду — от моря до глухих дебрей — они отыскали и запечатлели все мало-мальски красивое с виду и примечательное, затем фотографии были аккуратно проявлены и напечатаны. Они были Буркхардтовой приманкой, и он с глубоким волнением наблюдал, как его друг клюнул на нее и попался. Он показывал снимки домов, улиц, деревень, храмов, фотографии сказочных

пещер Бату[4] близ Куала-Лумпура и экзотически красивых изломов известняковых и мраморных гор в районе Ипоха[5], а когда Верагут порой спрашивал, не найдется ли там и фото аборигенов, он извлекал снимки малайцев, китайцев, тамилов, арабов, яванцев, полуобнаженных портовых атлетов-кули, тощих старых рыбаков, охотников, крестьян, ткачей, торговцев, красавиц в золотых украшениях, стаек темнокожих голых ребятишек, рыбаков с сетями, сакхао[6] в серьгах, с носовыми свистульками и яванских танцовщиц, увешанных серебром. У него были снимки всевозможных пальм, крупнолистных сочных бананов, уголков джунглей с тысячами лиан, священных храмовых рощ и черепашьих прудов, водяных буйволов на сырых рисовых полях, дрессированных слонов на работах и диких слонов, игравших в воде, вскинув к небу трубящий хобот.

Художник брал в руки снимок за снимком. Многие он, бросив на них мимолетный взгляд,

---

4 Примечания: 4

Пещеры Бату — крупнейший за пределами Индии индуистский храмовый комплекс (Малайзия).

5 Примечания: 5

Ипох — город в нынешней Малайзии.

6 Примечания: 6

Сакхао — народность во Вьетнаме.

откладывал в сторону, иные сравнивал друг с другом, отдельные фигуры и головы рассматривал очень внимательно. О многих фотографиях спрашивал, в какое время дня они сделаны, вымерял тени и все глубже уходил в задумчивое созерцание.

— Все это можно бы написать, — рассеянно пробормотал он однажды сам себе.

Но в конце концов со вздохом вскричал:

— Довольно! Ты еще столько всего непременно мне расскажешь. Как чудесно, что ты здесь! Я снова вижу все совсем иначе. Идем, прогуляемся часок, хочу показать тебе кое-что совершенно прелестное.

Оживленный и стряхнувший усталость, Верагут потянул Буркхардта за собой, по проселочной дороге, в поля, навстречу возвращающимся домой возам с сеном. Он с наслаждением вдыхал теплый густой запах скошенной травы, и неожиданно прилетело воспоминание.

— Помнишь, — смеясь спросил он, — лето после моего первого семестра в Академии, когда мы вместе жили в деревне? Я тогда писал сено, одно только сено, помнишь? Две недели изо всех сил старался написать несколько копешек на горном лугу, а никак не получалось, цвет мне не давался,

приглушенный матово-серый, в общем сенной! И когда я все-таки его поймал — сперва в довольно грубом приближении, но уже понял, что смешивать его надо из красного и зеленого, — я так возликовал, что не видел ничего, кроме сена. Ах, замечательная штука, такие вот первые пробы, поиски и находки!

— Да уж, век живи, век учись, — вставил Отто.

— Верно. Но те вещи, что мучают меня теперь, не имеют с техникой ничего общего. Знаешь, уже который год я все чаще замечаю, что, глядя на какой-нибудь ландшафт, вдруг невольно думаю о своей ранней юности. Все тогда выглядело по-иному, и мне бы хотелось когда-нибудь это написать. Иногда минуту-другую я видел словно бы как в ту пору, все вдруг снова обретало удивительный блеск… но ведь этого мало. У нас хватает хороших художников, людей тонких, деликатных, которые изображают мир таким, каким он видится умному, скромному старику. Но нет ни одного, что пишет мир таким, каким видит его свежий взгляд самоуверенного, породистого мальчугана, ну а те, кто делает подобные попытки, в большинстве просто плохие ремесленники.

В задумчивости художник сорвал на краю поля розовато-голубую скабиозу и с минуту неотрывно

смотрел на нее.

— Тебе надоело? — вдруг спросил он, как бы очнувшись, и подозрительно взглянул на друга.

Отто молча улыбнулся ему.

— Знаешь, — продолжал Верагут, — одна из картин, какие мне еще хотелось бы написать, это букет полевых цветов. Надо тебе сказать, моя мать умела собирать изумительные букеты, я никогда больше не видел ничего подобного, в этом деле она была поистине гений. По натуре сущий ребенок, она почти все время напевала, ходила легкой походкой, в большой коричневатой соломенной шляпе, во сне я всегда вижу ее такой. И мне хотелось бы написать именно такой букет полевых цветов, какие она любила: скабиозы, и тысячелистник, и мелкие розовые вьюнки, а среди них несколько красивых травинок и зеленый колосок овса. Я приносил домой сотни букетов, но пока что не составил правильного, в котором собран весь аромат, как в составленном мамой. Ей, например, не нравился белый тысячелистник, она всегда выбирала изящный, редкий, с оттенком лилового, по полдня перебирала тысячи трав, пока наконец решалась взять одну… Ах, я не умею сказать, ты не понимаешь.

— Отчего же, понимаю, — кивнул Буркхардт.

— Н-да, об этом букете полевых цветов я иной раз думаю чуть не полдня. Я точно знаю, какой должна быть моя картина. Не пресловутым фрагментом натуры, который подмечен зорким наблюдателем и опрощен умелым, ловким художником, но и не сентиментально-благостным, как у так называемого художника-краеведа. Картина должна быть совершенно наивной, как бы увиденной глазами одаренного ребенка, нестилизованной и полной простоты. Картина с туманом и рыбами, что стоит в мастерской, как раз диаметрально ей противоположна — надобно уметь и то и другое. Ах, мне хочется написать еще так много, так много!

Он свернул на узкую луговую тропинку, которая отлого поднималась на вершину невысокого круглого холма.

— Ну, сейчас увидишь! — энергично воскликнул он и, точно охотник, устремил взгляд куда-то вперед. — Как только достигнем вершины! Вот это я напишу нынче осенью.

Они вышли на вершину холма. На другой стороне вид заслоняла лиственная рощица, наискось пронизанная вечерним светом, и взгляд, избалованный луговым простором, лишь с трудом пробивался сквозь деревья. Под высокими

буками, где стояла замшелая каменная скамья, заканчивалась какая-то дорога, и, следуя ей, глаз обнаруживал над скамьей просвет, а там, за темным туннелем древесных крон, открывались глубокие дали, чистые и сияющие, долина, полная кустарника и ивняка, излучина сверкающей синевато-зеленой реки, и совсем уж далеко уходили в бесконечность гряды холмов.

Верагут показал вниз.

— Вот это я напишу, как только осень начнет расцвечивать буки. А в тени на скамье усажу Пьера, чтобы мимо его головы можно было заглянуть вниз, в долину.

Буркхардт молчал, слушая друга и всем сердцем ему сочувствуя. «Как ему хочется обмануть меня! — думал он, втихомолку улыбаясь. — Как он рассуждает о планах и о работе! Раньше-то никогда этого не делал. Такое впечатление, будто старается подробно рассказать обо всем, что еще радует его и покуда примиряет с жизнью». Друг знал художника и не пошел ему навстречу. Знал, пройдет совсем немного времени, и Йоханн сбросит с плеч бремя, накопленное за долгие годы, и сломает печать невыносимого молчания. А потому, выжидая, с мнимым спокойствием шагал рядом, хотя и удивлялся с грустью, что даже столь

незаурядный человек в несчастье становится ребячлив и с завязанными глазами и скованными руками бредет сквозь колючие шипы.

Когда они вернулись в Росхальде и спросили про Пьера, им сказали, что он с госпожой Верагут уехал в город встречать господина Альбера.

Глава четвертая

Альбер Верагут энергично расхаживал по музыкальной комнате своей матери. На первый взгляд, он очень напоминал отца, потому что глаза у него были отцовы, но в целом куда больше походил на мать, которая, прислонясь к роялю, провожала его ласково-внимательным взглядом. Когда он снова оказался подле нее, она крепко схватила его за плечи и повернула лицом к себе. Прядь белокурых волос падала на широкий бледный лоб, глаза горели мальчишеским волнением, красивые пухлые губы гневно кривились.

— Нет, мама! — решительно вскричал он, высвобождаясь из ее рук. — Ты же понимаешь, не могу я пойти к нему. Зачем ломать бессмысленную комедию! Он знает, я его ненавижу, и сам тоже меня ненавидит, что бы ты ни говорила.

— Ненавидеть! — воскликнула она с едва заметной строгостью. — Не бросайся словами, которые все искажают! Он твой отец, и было время, когда он очень тебя любил. Я запрещаю тебе говорить подобным образом.

Альбер остановился и, сверкая глазами, по-

смотрел на нее.

— Ты, конечно, можешь запретить мне такие слова, но что это изменит? Может, я должен быть ему благодарен? Он исковеркал тебе жизнь, а мне — родной дом, превратил наш красивый, радостный, чудесный Росхальде в место, полное неуюта и отвращения. Я здесь вырос, мама, и, бывает, каждую ночь вижу во сне давние комнаты и коридоры, сад, конюшню и голубятню. Нет у меня другой родины, чтобы любить ее и видеть во сне, чтобы по ней тосковать. А жить мне теперь приходится в чужих местах, даже на каникулы я не могу пригласить сюда друга, ведь он увидит, какую жизнь мы тут ведем! И каждый, кто со мной знакомится и слышит мое имя, тотчас заводит хвалебную песнь моему знаменитому отцу. Ах, мама, лучше бы у нас не было ни отца, ни Росхальде, лучше бы мы были бедняками, и ты бы занималась шитьем или давала уроки, а я бы помогал зарабатывать деньги.

Мать подошла к нему, силой усадила в кресло, присела к нему на колени, отвела с лица упавшую прядь.

— Ну вот, — сказала она своим спокойным грудным голосом, звуки которого означали для него родной приют, — ну вот, ты все мне вы-

сказал. Иной раз высказаться весьма полезно. Надо знать все то, что приходится терпеть. Однако ж причиняющее боль будоражить не стоит, дитя мое. Ты уже с меня ростом, скоро станешь мужчиной, и я этому рада. Ты — мое дитя и им останешься, но пойми, я подолгу бываю одна, и забот у меня много, поэтому мне нужен настоящий друг-мужчина, и им будешь ты. Ты будешь играть со мной в четыре руки, и гулять со мной в саду, и присматривать за Пьером, мы чудесно проведем каникулы. Только не надо поднимать шум и усугублять мои сложности, иначе я подумаю, что ты еще мальчишка-подросток и у меня очень нескоро появится умный друг, которого мне так хочется иметь.

— Да, мама, да. Но разве можно постоянно молчать обо всем том, что делает тебя несчастным?

— Так лучше всего, Альбер. Это нелегко, детям не по плечу. Но так лучше всего… Давай теперь что-нибудь сыграем?

— С удовольствием. Бетховена, Вторую симфонию — хочешь?

Едва они начали играть, как дверь тихонько отворилась, в комнату проскользнул Пьер, сел на скамеечку и стал слушать. При этом он задумчиво смотрел на своего брата, на его шею в

спортивном вороте шелковой рубашки, на его волосы, двигающиеся в ритме музыки, на его руки. Сейчас, не видя глаз брата, он обратил внимание на большое сходство Альбера с матерью.

— Тебе нравится? — спросил Альбер во время паузы.

Пьер кивнул, но немного погодя тихонько вышел из комнаты. В вопросе Альбера мальчик почуял отзвук тона, которым, как он уже усвоил, большинство взрослых разговаривают с детьми и фальшивую приветливость которого и неловкую снисходительность совершенно не выносил. Ему хотелось увидеть старшего брата, он даже с нетерпением ждал его и на вокзале встретил с огромной радостью. Но мириться с этаким тоном не собирался.

Между тем в мастерской Верагут и Буркхардт ждали Альбера, Буркхардт — с нескрываемым любопытством, художник — в нервозном смущении. Как только он узнал о приезде Альбера, мимолетная живость и разговорчивость тотчас его оставили.

— Ты не ожидал его приезда? — спросил Отто.

— Да нет, в общем. Я знал, что он приедет на днях.

Верагут выудил из коробки со всяким хламом

давние фотографии. Отыскал детский портрет и поставил его подле фотографии Пьера, для сравнения.

— Таким был Альбер в том же возрасте, что Пьер сейчас. Помнишь его?

— Конечно, хорошо помню. Фото очень похожее. В нем так много от твоей жены.

— Больше, чем в Пьере?

— Да, намного больше. Пьер не похож ни на тебя, ни на свою мать. Кстати, вот и он. Или это Альбер? Нет, не может быть.

За дверью послышались легкие мелкие шаги по плитке и по скребку, затем дверная ручка, чуть помедлив, повернулась, и вошел Пьер, вопросительно-приветливым взглядом выясняя, нет ли здесь возражений против его общества.

— Где же Альбер? — спросил отец.

— У мамы. Они на рояле играют.

— Вот как, на рояле.

— Ты сердишься, папа́?

— Нет, Пьер, замечательно, что ты пришел. Расскажи нам что-нибудь!

Мальчик заметил фотографии, взял их в руки.

— О, это я! А это кто? Альбер?

— Да, Альбер. Так он выглядел, когда ему было столько же лет, сколько тебе сейчас.

— Меня тогда еще не было на свете. А теперь он совсем большой, и Роберт говорит ему господин Альбер.

— Ты тоже хочешь стать большим?

— Да, хочу, конечно. Большим можно иметь лошадей и ездить верхом, я бы тоже не прочь. И никто тогда не посмеет называть меня малышом и щипать за щеки. Но вообще-то мне не очень хочется становиться большим. Старики часто такие неприятные. Альбер тоже стал совсем другим. И потом, старые люди все больше стареют и в конце концов умирают. Лучше бы мне остаться как сейчас, а иногда я думаю, как было бы здорово уметь летать, высоко-высоко, вместе с птицами, подниматься ввысь, над деревьями, в облака. Вот когда я бы над всеми посмеялся.

— И надо мной тоже, Пьер?

— Немножко, папа. Старые люди все иной раз ужасно чудны́е. Мама не в счет. Мама временами лежит в саду в длинном таком кресле и ничего не делает, только глядит в траву, а руки у нее свисают вниз, и она совсем спокойная и немножко грустная. Хорошо, когда не нужно все время что-то делать.

— Ты что же, никем быть не хочешь? Ни строителем, ни садовником, ни художником?

— Нет, не хочу. Садовник у нас уже есть, и дом тоже есть. Хорошо бы заняться совсем другими вещами. Например, понять, что говорят друг дружке малиновки. И увидеть, как это деревья пьют воду корнями и могут вырасти такими большими. Мне кажется, по-настоящему никто этого не знает. Учитель много знает, но только всё какие-то скучные вещи.

Мальчик сел на колени к Отто Буркхардту и теребил пряжку на его ремне.

— Многое просто нельзя знать, — мягко сказал Буркхардт. — Многое можно только видеть и довольствоваться его красотою. Если когда-нибудь отправишься ко мне в Индию, ты будешь много дней плыть на большом корабле, а перед кораблем будут то и дело выскакивать из воды маленькие рыбки, у них есть прозрачные крылышки, и они умеют летать. А порой прилетают и птицы, из дальней дали, с чужих островов, они очень устают, садятся на корабль и удивляются, что по морю плывет столько чужих людей. Им, поди, тоже хочется понимать нас и спросить, откуда мы и как нас зовут, да не получается, и тогда мы просто смотрим друг другу в глаза и киваем головой, а птица, отдохнув, встряхивается и снова улетает прочь, за море.

— Неужели вовсе неизвестно, как зовут этих птиц?

— О, конечно, известно. Но эти имена им дали люди, а уж как они сами себя зовут, нам знать не дано.

— Дядюшка Буркхардт так хорошо умеет рассказывать, папа. Мне бы тоже хотелось иметь друга. Альбер уже слишком большой. Люди в большинстве толком не понимают, что́ им говорят и чего от них хотят, а вот дядюшка Буркхардт сразу меня понимает.

Прибежала горничная, увела малыша. Вскоре настало время ужинать, и мужчины пошли в большой дом. Верагут был молчалив и расстроен. В столовой ему навстречу шагнул сын, подал руку:

— Добрый день, папа.

— Добрый день, Альбер. Хорошо доехал?

— Да, спасибо. Добрый вечер, господин Буркхардт.

Молодой человек держался очень холодно и корректно. Сопроводил мать к столу. За ужином разговор шел почти исключительно между Буркхардтом и хозяйкой дома. Речь зашла о музыке.

— Позвольте спросить, — обратился Буркхардт к Альберу, — какая музыка вам особенно по душе?

Сам я, правда, уже давно отстал и с современной музыкой знаком разве что по названию.

Юноша вежливо поднял взгляд и ответил:

— Самое современное мне тоже знакомо только понаслышке. Я не принадлежу к определенному направлению и люблю всякую музыку, коли она хороша. Больше всего Баха, Глюка и Бетховена.

— О, классики. Из них я в мое время, собственно, более-менее знал лишь Бетховена. О Глюке мы вообще понятия не имели. Поголовно все увлекались Вагнером, надобно вам знать. Помнишь, Йоханн, как мы впервые слушали «Тристана»? Это был восторг!

Верагут невесело улыбнулся.

— Старая школа! — воскликнул он чуть резковато. — Вагнер устарел. Или нет, Альбер?

— О, напротив, его исполняют во всех театрах. Но я судить не берусь.

— Вам не нравится Вагнер?

— Я слишком мало его знаю, господин Буркхардт. В театре бываю очень редко. Меня интересует только чистая музыка, не опера.

— Ну а «Мейстерзингеры»! Их-то вы наверняка знаете. Они тоже никуда не годятся?

Альбер прикусил губу и на миг задумался, потом ответил:

— Я в самом деле не могу об этом судить. Это… как бы сказать?.. романтическая музыка, а она мне неинтересна.

Верагут скривился.

— Будешь местное вино? — спросил он, заговорив о другом.

— Да, спасибо.

— А ты, Альбер? Бокал красного?

— Спасибо, папа, лучше не стоит.

— Ты стал трезвенником?

— Вовсе нет. Но вино не идет мне на пользу, так что я лучше не буду.

— Ладно. Ну а мы выпьем, Отто. Твое здоровье!

Он залпом выпил полбокала.

Альбер продолжал играть роль благовоспитанного юноши, который хотя и имеет вполне определенные взгляды, но скромно держит их при себе, предоставляя слово старшим, не затем чтобы учиться, а чтобы к нему не приставали. Роль эта плохо ему подходила, и вскоре он почувствовал себя крайне неловко. Он отнюдь не хотел давать отцу, которого привык по возможности игнорировать, ни малейшего повода для критических замечаний.

Буркхардт молча наблюдал за происходящим, и таким образом не нашлось никого, кто бы

добровольно возобновил иссякший от холода застольный разговор. Все спешили закончить трапезу, с вежливой обстоятельностью передавали друг другу то и это, сконфуженно вертели в руках десертные ложки и в невеселой трезвости дожидались, когда можно будет встать и разойтись. Именно в этот час Отто Буркхардт до глубины души прочувствовал отчуждение и холодное, безнадежное равнодушие, в котором окоченели и зачахли брак и жизнь его друга. Бегло глянув в его сторону, он увидел, как Верагут с досадой и скукой смотрит на еду, к которой едва притронулся, и, на секунду перехватив его взгляд, прочитал в его глазах мольбу и стыд, ведь он выдал свое состояние.

Грустное зрелище; казалось, равнодушное молчание, смущенный холод и безотрадная принужденность трапезы внезапно во весь голос заявили о Верагутовом позоре. И Отто ясно ощутил, что впредь каждый день его пребывания здесь станет лишь мерзким продолжением этого постыдного зрительства и мукой для друга, который лишь с отвращением поддерживал видимость и уже не имел ни сил, ни желания приукрашивать перед зрителем свое убожество. Необходимо положить этому конец.

Едва госпожа Верагут встала, ее муж тотчас отодвинул свое кресло.

— Я очень устал и прошу меня извинить. Не обращайте внимания!

Он вышел, забыв закрыть за собою дверь, и Отто слышал, как он медленно, тяжелыми шагами прошел по коридору и по скрипучей лестнице.

Буркхардт закрыл дверь и проводил хозяйку дома в салон, где рояль был по-прежнему открыт и вечерний ветерок перебирал нотные листы на пюпитре.

— Я хотел попросить вас что-нибудь сыграть, — неловко сказал он. — Но мне кажется, ваш муж не очень хорошо себя чувствует, ведь он весь день работал на солнце. С вашего позволения, я ненадолго составлю ему компанию.

Госпожа Верагут серьезно кивнула и даже не пыталась удержать его. Он откланялся и вышел, Альбер проводил его до лестницы.

Глава пятая

Смеркалось, когда Отто Буркхардт вышел из уже освещенной большой лампой передней и попрощался с Альбером. Под каштанами он остановился, жадно вдохнул приятно прохладный, пахнущий листвою вечерний воздух и стер со лба крупные капли пота. Если он может немного помочь своему другу, то именно сейчас.

В жилище художника света не было, и ни в мастерской, ни в подсобных помещениях он друга не нашел. Открыл дверь к озеру, тихонько обошел вокруг дома. И увидел его: Верагут сидел в плетеном кресле, в котором утром писал его, сидел, подперев голову руками и закрыв ладонями лицо, спокойно, будто спал.

— Йоханн! — негромко окликнул он, подошел, положил руку на склоненную голову.

Ответа не было. Буркхардт молча стоял в ожидании, поглаживая сраженного усталостью и мукой по коротким жестким волосам. В кронах деревьев гулял ветерок, в остальном было тихо и по-вечернему безмятежно. Шли минуты. Как вдруг от господского дома накатила сквозь су-

мерки широкая волна звуков, мощный, долгий аккорд, затем еще один. Первый такт фортепианной сонаты.

Художник поднял голову, мягко стряхнул руку друга, встал. Усталыми сухими глазами спокойно посмотрел на Буркхардта, попробовал улыбнуться, но не стал, только застывшие черты расслабились.

— Идем в дом, — сказал он и махнул рукой, словно отталкивая от себя наплывающую музыку.

Он пошел впереди. У двери мастерской остановился.

— Думаю, ты вряд ли задержишься здесь надолго?

«Как он все чувствует!» — подумал Буркхардт. И сдержанным голосом ответил:

— Один день роли не играет. Пожалуй, уеду послезавтра.

Верагут ощупью искал выключатели. С легким металлическим щелчком в мастерской вспыхнул слепяще-яркий свет.

— Тогда давай-ка разопьем бутылочку доброго винца.

Он позвонил в колокольчик, вызвал Роберта и отдал ему распоряжения. Посредине мастерской стоял новый портрет Буркхардта, почти готовый.

Они постояли, глядя на него, меж тем как Роберт пододвинул стол и кресла, принес вино и лед, сигары и пепельницы.

— Отлично, Роберт, можете идти. Утром не будить! А теперь оставьте нас одних!

Они сели, чокнулись. Художник беспокойно поерзал в кресле, опять встал и выключил половину ламп. Потом снова грузно сел.

— Портрет еще не вполне готов, — начал он. — Возьми сигару! И будет вполне недурен, но в конце концов это не так важно. Да мы и увидимся еще.

Он выбрал себе сигару, тщательно обрезал, повертел в нервных пальцах и снова отложил.

— На сей раз ты приехал не слишком удачно, Отто. Мне жаль.

Голос у него неожиданно сорвался, он наклонился, схватил руки Буркхардта, крепко сжал.

— Теперь ты все знаешь, — устало простонал он, несколько слезинок упали на руку Отто. Однако же он не хотел распускаться. Снова выпрямился, усилием воли усмирил волнение и смущенно проговорил: — Извини! Давай выпьем по глоточку! Ты не куришь?

Буркхардт взял сигару.

— Бедняга!

Оба пили и курили в покойном молчании, следили, как свет ярко взблескивает в резных хрустальных бокалах, а в золотистом вине сияет мягче, как сизый дымок нерешительно плывет через просторное помещение и завивается в капризные петли, порой смотрели друг на друга, свободным, открытым взглядом, который более не нуждался в словах. Казалось, все уже сказано.

Ночной мотылек, шурша крылышками, метался по мастерской и раза три-четыре с глухим стуком ударился о стены. А потом бархатно-серым треугольником неподвижно замер на потолке.

— Поедешь в сентябре со мной в Индию? — в конце концов нерешительно спросил Буркхардт.

Снова долгая тишина. Мотылек медленно пошевелился. Серый, маленький пополз вперед, словно разучился летать.

— Может быть, — сказал Верагут. — Может быть. Мы непременно это обсудим.

— Да, Йоханн. Не хочу тебя мучить. Но хоть немного ты должен мне рассказать. Я не льстил себя надеждой, что твои отношения с женой снова наладятся, однако…

— Да в них с самого начала ничего хорошего не было!

— Верно. Тем не менее ужасно видеть, что де-

ло зашло настолько далеко. Нельзя же так. Ты гибнешь.

Верагут хрипло рассмеялся.

— Нет, не гибну, старина. В сентябре выставлю во Франкфурте около дюжины новых картин.

— Ну хорошо. Но долго ли так может продолжаться? Ведь это бессмысленно… Скажи, Йоханн, отчего ты не разошелся с женой?

— Не так это просто. Я расскажу. Лучше тебе услышать все по порядку.

Художник отпил глоток вина да так и замер, наклонясь вперед, Отто же отодвинулся подальше от стола.

— Что у нас с женой изначально хватало сложностей, тебе известно. Несколько лет было еще так-сяк, ни хорошо ни плохо, и, вероятно, тогда мы могли бы кое-что спасти. Но я толком не умел скрыть свое разочарование и упорно требовал от Адели именно того, чего она дать не умела. Темпераментностью она никогда не отличалась, была от природы серьезна, сдержанна, и я мог бы понять это заранее. Никогда не умела смотреть на жизнь легко и преодолевать тяготы с юмором, верхоглядно. Моим претензиям и капризам, моим бурным порывам, а в итоге разочарованию могла противопоставить только молчание и

терпение, трогательное, тихое, героическое терпение, которое часто брало меня за душу, но ни мне, ни ей никак не помогало. Если я сердился и выказывал недовольство, она молча страдала, а если я вскоре приходил с намерением все уладить, просил прощения или в минуты радости пытался развеселить и ее, ничего не получалось, она и тут молчала и все больше замыкалась в себе, в своей тяжеловесной верности. Когда я был с ней, она молчала уступчиво и испуганно, принимала вспышки гнева и веселое настроение с одинаковым спокойствием, а когда я уходил, играла в одиночестве на фортепиано и думала о девичьих годах. Так я все больше впадал в немилость, а в конце концов мне тоже стало больше нечего дать и нечего сказать. Я начал усердно работать и мало-помалу научился окапываться в работе, как в крепости.

Верагут, конечно, очень старался сохранить спокойствие. Ему хотелось рассказать, а не обвинять, но под словами все равно явственно сквозило обвинение, по меньшей мере жалоба на разрушенную жизнь, на разбитые надежды молодости и на пожизненную обреченность полубытию, безрадостному и совершенно противному глубинной его натуре.

— Уже тогда я порой думал расторгнуть брак. Но ведь это не так-то просто. Я привык сидеть в тишине и работать, и всякий раз меня пугала мысль о судах и адвокатах, о ломке всех мелких будничных привычек. Встреться мне тогда новая любовь, я бы легко принял решение. Но оказалось, что и моя собственная натура куда тяжелее на подъем, чем я думал. С некоторой меланхоличной завистью я влюблялся в хорошеньких молодых девушек, но чувство никогда не бывало достаточно глубоким, и я все больше осознавал, что уже не могу предаться любви с такой безоглядностью, как живописи. Всякая жажда дать себе волю, полностью забыть обо всем, всякое желание и всякая потребность были нацелены только на живопись, и за эти долгие годы я в самом деле не впустил в свою жизнь ни одного нового человека, ни женщину, ни друга. Ты же понимаешь, всякую дружбу мне пришлось бы начать с признания своего позора.

— Позора?! — тихо сказал Буркхардт, с оттенком укоризны.

— Конечно, позора! Так я ощущал это уже тогда, и с тех пор ничего не изменилось. Быть несчастным — позор. Позор, когда ты не вправе никому показывать свою жизнь, вечно что-то скрывать,

притворяться. Хватит! Я тебе расскажу.

Мрачно глядя в свой бокал, он бросил потухшую сигару и продолжил:

— Альбер тем временем подрастал. Мы оба очень его любили, разговоры и заботы о нем держали нас вместе. Только когда ему исполнилось семь или восемь, я начал ревновать и бороться за него — точно так же, как сейчас борюсь с нею за Пьера! Я вдруг уяснил себе, что очень люблю мальчугана, жить без него не могу, и год за годом с постоянным страхом смотрел, как он мало-помалу охладевает ко мне и все больше льнет к матери.

Потом он серьезно захворал, и в эту пору тревог о ребенке все остальное ненадолго отступило, некоторое время мы жили душа в душу, как никогда прежде. Пьер — дитя этой поры.

С того дня, как малыш Пьер явился на свет, он владел и владеет всей любовью, какую я могу ему дать. Я вновь отпустил Адель, я позволил, чтобы Альбер после выздоровления все больше сближался с матерью, стал ее союзником против меня и постепенно моим врагом, пока мне не пришлось удалить его из дома. Я пожертвовал всем, стал совершенно нищ и непритязателен, даже отвык ругаться и командовать в доме и

ничуть не возражал быть в собственном доме лишь гостем, которого терпят. Я не желал для себя ничего, кроме малыша Пьера, и когда жизнь под одной крышей с Альбером и вся обстановка в доме сделались невыносимы, я предложил Адели развод.

Пьера я хотел оставить у себя. Все прочее был готов отдать ей: пусть остается с Альбером, пусть сохранит для себя Росхальде и половину моих доходов, а по мне, так и больше. Но она не пожелала. Соглашалась развестись и принять от меня лишь самое необходимое — только не разлучаться с Пьером. Это была наша последняя ссора. Я еще раз попытался сделать все, чтобы спасти для себя остатки счастья; просил и обещал, угождал и унижался, грозил и плакал, а в конце концов бушевал — все напрасно. Она даже согласилась отослать Альбера. Неожиданно оказалось, что эта тихая, терпеливая женщина не намерена отступить ни на дюйм; она прекрасно чувствовала свою власть и использовала свое преимущество. Я тогда буквально ненавидел ее, и что-то от этой ненависти осталось навсегда.

Потом я нанял каменщиков, пристроил к мастерской маленькую квартирку, здесь с тех пор и живу, и все обстоит вот так, как ты видел.

Буркхардт задумчиво слушал и ни разу не перебил его, даже в те мгновения, когда Верагут, казалось, ожидал этого и даже хотел.

— Я рад, — осторожно сказал он, — что ты сам так ясно все видишь. Примерно так я и представлял себе ситуацию. Давай еще немного поговорим, раз уж начали! С тех пор как приехал сюда, я ждал этого часа не меньше, чем ты. Считай, будто тебя мучает неприятный нарыв, которого ты немножко стыдишься. Теперь я о нем знаю, и тебе уже легче, ведь больше незачем его утаивать. Но этого мало, надо подумать, не стоит ли вскрыть его и излечить.

Художник посмотрел на друга, неловко покачал головой и улыбнулся:

— Излечить? Такое не излечишь. Но вскрыть можно, приступай!

Буркхардт кивнул. Он так и сделает, нельзя, чтобы этот час пропал втуне.

— Одно в твоем рассказе осталось для меня неясно, — задумчиво начал он. — Ты говоришь, что не развелся с женой из-за Пьера. Но возникает вопрос: разве ты не мог заставить ее отдать Пьера тебе? Если бы вы развелись через суд, тебе бы наверняка присудили одного из детей. Об этом ты никогда не думал?

— Нет, Отто, не думал. Никогда не думал, что судья с его мудростью сумеет исправить то, что упустил и пропустил я сам. Мне этим не поможешь. Поскольку моей личной власти не хватило, чтобы подвигнуть жену отказаться от мальчика, оставалось только ждать, кого позднее выберет сам Пьер, вот и все.

— Значит, все дело в Пьере. Не будь его, ты бы, несомненно, давным-давно развелся с женой и, глядишь, нашел на свете счастье или хотя бы ясную, разумную, свободную жизнь. А вместо этого погряз в ворохе компромиссов, жертв и мелких паллиативов, в которых такой человек, как ты, наверняка задыхается.

Верагут забеспокоился, поспешно залпом выпил бокал вина.

— Ты все время толкуешь об удушье и гибели! Но ты же видишь, я живу и работаю, и черт меня возьми, если я сдамся!

Отто оставил его недовольство без внимания и с легкой настойчивостью продолжил:

— Прости, это не вполне верно. Ты человек необычайно сильный, иначе бы вообще не выдержал так долго этих обстоятельств. Насколько они тебе навредили и насколько состарили, ты сам чувствуешь и проявляешь никчемное тще-

славие, не желая, чтобы я это заметил. Я больше верю собственным глазам, нежели тебе, и вижу, что живется тебе прескверно. Тебя поддерживает работа, но она скорее дурман, чем радость. Половину своей замечательной силы ты тратишь впустую, в мелких будничных противодействиях. И в лучшем случае результат не счастье, а максимум смирение. Но это, дружище, по-моему, тебе отнюдь не на пользу.

— Смирение? Может быть. Другие тоже так живут. Кто вообще счастлив?

— Тот, кто надеется! — энергично вскричал Буркхардт. — А тебе есть на что надеяться? Внешний успех, почести, деньги — всего этого у тебя более чем достаточно. Старина, ты же знать не знаешь, что такое жизнь и радость! Ты доволен, оттого что вовсе не надеешься! Я, конечно, понимаю, но это ведь мерзкое состояние, Йоханн, скверный гнойник, и тот, кто страдает от него, но не желает вскрыть, просто трус.

Он разгорячился, принялся энергично расхаживать по комнате и, меж тем как, напрягая силы, действовал по своему плану, из глубины памяти на него смотрело мальчишечье лицо Верагута и перед внутренним взором явилась давняя сцена, когда он вот так же, как сейчас, спорил с ним.

Подняв глаза, он увидел лицо друга, тот сидел, понуро глядя в пол. Мальчишечье лицо стерлось без следа. Перед ним сидел человек, которого он намеренно назвал трусом, намеренно затронул его некогда столь ранимые чувства, и этот человек не оборонялся.

Он лишь воскликнул в горьком бессилии:

— Ну же, давай! Не стоит щадить меня. Ты видел, в какой клетке я живу, можешь спокойно ткнуть туда палкой, ткнуть мне в глаза мой позор. Пожалуйста, продолжай! Я не защищаюсь, даже не сержусь.

Отто остановился перед ним. Ему было очень жаль друга, однако он овладел собой и резко бросил:

— Но ты должен рассердиться! Должен вышвырнуть меня и лишить своей дружбы или же признать мою правоту.

Художник тоже встал, но вяло, без бодрости.

— Что ж, если тебе это важно, ты прав, — устало сказал он. — Ты переоценивал меня, я уже не так молод и не так обидчив. И друзей у меня не настолько много, чтобы я мог ими разбрасываться. У меня есть только ты. Сядь, выпей еще бокальчик вина, оно ведь отменное. В Индии ты такого не сыщешь, да, поди, и не найдется у тебя там

много друзей, которые стерпят от тебя столько упрямства.

Буркхардт легонько хлопнул его по плечу и чуть ли не со злостью сказал:

— Старина, мы же не станем сейчас впадать в сантименты, сейчас не время! Скажи мне, в чем можешь меня упрекнуть, а потом продолжим.

— О, мне не в чем тебя упрекнуть! Ты молодец, Отто, без сомнения. Вот уж без малого два десятка лет смотришь, как я тону, смотришь доброхотно и пожалуй что с сожалением, как я все больше грязну в трясине, и ни разу слова мне не сказал, ни разу не унизил, скажем предложив помощь. Смотрел, как я годами изо дня в день носил при себе цианистый калий, и с благородным удовлетворением отмечал, что я его не глотал и в конце концов выбросил. А теперь, когда я так увяз в грязи, что уже не могу выбраться, ты тут как тут, с упреками да увещеваниями…

Покрасневшими, воспаленными глазами художник уныло смотрел перед собою, и Отто, вознамерившись налить себе новый бокал вина и обнаружив, что бутылка пуста, только сейчас сообразил, что за это короткое время Верагут успел выпить все вино в одиночку.

Художник проследил его взгляд и звонко рас-

смеялся.

— Прости! — с жаром воскликнул он. — Да, я слегка пьян, не забудь поставить в мой счет и это тоже. Раз в несколько месяцев я ненароком позволяю себе хватить лишку… для бодрости, знаешь ли…

Обеими руками он крепко взял друга за плечи и неожиданно увядшим, высоким голосом сказал:

— Пойми, дружище, и в цианистом калии, и в вине, и во всем прочем не было бы нужды, если б кто-нибудь хоть чуточку мне помог! Почему ты допустил до того, что я сейчас, ровно нищий, вынужден выпрашивать толику снисхождения и любви? Адель меня не вынесла, Альбер от меня отпал, Пьер тоже когда-нибудь покинет меня — а ты стоял рядом и смотрел. Неужели ты ничего не мог сделать? Неужели совсем не мог мне помочь?

Голос художника сорвался, он опять рухнул в кресло. Буркхардт побледнел как полотно. Дело-то обстояло куда хуже, чем он предполагал! Несколько бокалов вина — и этот гордый, жесткий человек готов безропотно признать свой тайный изъян и убожество! Он стоял подле Верагута, тихонько шепча ему на ухо, как ребенку, которого надо утешить:

— Я помогу тебе, Йоханн, поверь, помогу. Я вел себя как осел, как слепой дурак! Все еще уладится, поверь, сам увидишь!

Ему вспомнилась юность, те редкие случаи, когда его друг от огромной нервозности терял над собою контроль. С удивительной отчетливостью одно из таких переживаний, дремавшее в глубинах памяти, сейчас вновь явилось перед ним. В ту пору Йоханн встречался с одной хорошенькой одноклассницей и, когда Отто с пренебрежением высказался о ней, самым резким образом отказал ему в дружбе. Верагут и тогда не в меру разгорячился от небольшого количества вина, и глаза у него тогда тоже покраснели, и он потерял контроль над голосом. У Буркхардта вдруг сжалось сердце, так странно было видеть, как возвращаются забытые черты в лице друга, и вновь, как и тогда, его испугала внезапно разверзшаяся бездна внутреннего одиночества и душевного самомучительства в жизни Верагута. Без сомнения, это и есть тайна, о которой Йоханн порой намекал и которая, как он полагал, жила в душе всякого большого художника. Вот, стало быть, откуда шло ужасающе ненасытное стремление этого человека творить и каждый миг заново охватывать и покорять мир своими чувствами. Отсюда

же в конечном счете и странная печаль, какую великие творения искусства часто навевают на тихого созерцателя.

Казалось, до этого часа Отто никогда полностью не понимал своего друга. Сейчас он смотрел в глубь темного источника, в котором душа Йоханна черпала силы и муки. И одновременно испытывал глубокое, радостное утешение, оттого что именно ему, старинному другу, страждущий открылся, именно его обвинял, именно его просил о помощи.

Верагут словно бы уже не помнил, о чем только что говорил. Сидел притихший, как нарезвившийся ребенок, и в конце концов ясным голосом сказал:

— На сей раз тебе со мной не везет. Все дело только в том, что в последнее время я не занимался ежедневной работой. Нервы расстроились. Я не переношу хороших дней.

А когда Буркхардт хотел было остановить его, не дать откупорить вторую бутылку, он заметил:

— Мне сейчас не уснуть. Бог весть, отчего я так нервничаю! Давай еще немного попируем, раньше-то ты не был таким чопорным… А-а, это из-за моих нервов! Я ужо приведу их в порядок, тут у меня опыта хватает. В ближайшее время

каждое утро буду в шесть приниматься за работу и каждый вечер целый час ездить верхом.

Друзья просидели вдвоем почти до полуночи. Йоханн без умолку болтал, вспоминая давние времена, Отто слушал и с чуть ли не досадливым удовольствием наблюдал, как гладкая, радостно зеркальная поверхность успокоенно смыкается, скрывая от него вот только что разверстые темные бездны.

Глава шестая

На следующий день Буркхардт встретил художника с замешательством. Он приготовился найти друга иным и вместо вчерашнего возбуждения увидеть насмешливый холодок и враждебный стыд. Однако Йоханн был тих и серьезен.

— Ну вот, завтра ты уезжаешь, — приветливо сказал он. — Что ж, спасибо тебе за все. Кстати, вчерашний вечер я не забыл, нам нужно еще поговорить.

Отто нерешительно согласился:

— Если хочешь, поговорим, хотя мне бы не хотелось без нужды снова тебя волновать. Вчера мы, пожалуй, слишком многое взбудоражили. Зачем только тянули до последнего часа!

Они завтракали в мастерской.

— Как раз и хорошо, что так вышло, — решительно отозвался Йоханн. — Даже очень хорошо. Надо тебе сказать, я провел ночь без сна и еще раз все обмозговал. Ты многое переворошил, пожалуй, даже больше, чем я мог выдержать. Не забывай, сколько лет мне было не с кем поговорить. Но теперь пора все разобрать и расхлебать,

иначе я впрямь буду трусом, как ты вчера сказал.

— О, я тебя обидел? Не сердись!

— Да нет, ты почитай что прав, по-моему. Нынче мне хочется провести с тобой еще один прекрасный, радостный день, после обеда поедем кататься, я покажу тебе окрестности. Но прежде не помешает кое в чем разобраться. Вчера все обрушилось на меня так неожиданно, что я просто потерял голову. Но теперь я все обдумал. И, кажется, понимаю, что́ ты вчера хотел мне сказать.

Он говорил так спокойно и дружески, что Буркхардт отбросил свои сомнения.

— Коли ты меня понял, то все в порядке, и нам незачем начинать сначала. Ты рассказал мне, как все получилось и как дело обстоит сейчас. Значит, ты сохраняешь свой брак, хозяйство и вообще теперешние обстоятельства только потому, что не желаешь разлучиться с Пьером. Так?

— Да, именно так.

— А как ты представляешь себе дальнейшее? Кажется, вчера ты намекнул, что боишься со временем потерять и Пьера. Или нет?

Верагут горестно вздохнул и подпер лоб ладонью, но продолжал прежним тоном:

— Возможно. Вот самое больное место. По-твое-

му, мне лучше отказаться от мальчика?

— Да, конечно, да! Он обойдется тебе в долгие годы борьбы с женой, и она вряд ли отдаст его тебе.

— Возможно. Но пойми, Отто, он — последнее, что у меня осталось! Вокруг меня сплошные развалины, и умри я сегодня, кроме тебя, горевать будут разве что несколько журналистов. Я бедный человек, но у меня есть, все-таки есть этот ребенок, этот милый мальчуган, ради него я могу жить, его могу любить, ради него я страдаю и рядом с ним забываюсь в добрые часы. Вдумайся хорошенько! Все это я должен отдать?!

— Это нелегко, Йоханн. Дело чертовски скверное! Но другого выхода я не вижу. Сам посуди, ты уже представления не имеешь, как выглядит внешний мир, похоронил себя в работе и в неудачном браке. Сделай шаг и отбрось все разом, и ты вдруг увидишь, что мир снова ждет тебя, с сотнями чудесных вещей. Ты давно хороводишься с покойниками, потерял связь с жизнью. Ты привязан к Пьеру, спору нет, он очаровательный малыш, но это же не главное. Не щади себя, соберись и хорошенько подумай, вправду ли ты нужен мальчику!

— Нужен ли я ему?..

— Да. Ты можешь дать ему любовь, нежность, душевность — но во всем этом ребенок обыкновенно нуждается меньше, чем воображаем мы, взрослые. Мало того, мальчик растет в доме, где отец и мать едва знаются и даже ревнуют его один к другому! У него нет перед глазами доброго примера счастливой, здоровой семьи, он развит не по годам и станет странным человеком… А в конце концов, прости, в один прекрасный день ему придется выбирать между тобой и матерью. Неужели не понятно?

— Пожалуй, ты прав. Даже наверняка прав. Но думать об этом выше моих сил. Я привязан к мальчику и цепляюсь за эту любовь, потому что давно уже не ведаю иного тепла и иного света. Возможно, через несколько лет он бросит меня, возможно, разочарует, возможно, и возненавидит — как ненавидит Альбер, который в четырнадцать лет однажды запустил в меня столовым ножом. И все же еще год-другой я буду при нем, буду любить его, брать его маленькие ручки в свои, слышать его звонкий, как у пташки, голос. Скажи: я должен от этого отказаться? Должен?

Буркхардт огорченно пожал плечами и наморщил лоб.

— Должен, Йоханн, — помолчав, очень тихо

сказал он. — Думаю, должен. Не сегодня, но в скором времени. Ты должен бросить все, что у тебя есть, дочиста смыть с себя все былое, иначе никогда не сумеешь смотреть в мир совершенно ясным и свободным взглядом. Поступай как хочешь и, если не можешь сделать этот шаг, оставайся здесь и живи как жил — я все равно буду с тобой, в любом случае, я всегда с тобой, ты знаешь. Но мне будет жаль.

— Посоветуй что-нибудь! Мне видится впереди сплошной мрак.

— Я дам тебе совет. Сейчас июль, осенью я вернусь в Индию. Но до тех пор еще раз заеду к тебе и надеюсь, ты тогда соберешь чемоданы и отправишься со мной. Если к тому времени ты примешь решение и скажешь «да», тем лучше! Ну а если нет, что ж, поезжай со мной на год или хоть на полгода, подыши другим воздухом. У меня ты сможешь писать и ездить верхом, охотиться на тигров или влюбляться в малаек — они бывают очень хорошенькие, — короче говоря, побудешь какое-то время далеко отсюда и поглядишь, не лучше ли жить так. Что скажешь?

Закрыв глаза, художник покачивал крупной лохматой головой, бледный, с поджатыми губами. Потом с улыбкой воскликнул:

— Спасибо! Спасибо, очень мило с твоей стороны. Осенью я скажу тебе, поеду с тобой или нет. Пожалуйста, оставь мне вон те фотографии.

— Конечно, бери… Но… нельзя ли решить насчет поездки сегодня или хотя бы завтра? Для тебя так было бы лучше.

Верагут встал, направился к двери.

— Нет, не могу. Мало ли что до тех пор случится! Я никогда не расставался с Пьером дольше чем на три-четыре недели. Думаю, я поеду с тобой, но сейчас не хочу говорить ничего, о чем мог бы пожалеть.

— Ладно, на том и порешим! Ты всегда будешь знать, где меня найти. А если однажды телеграфируешь три слова: «Еду с тобой», то ради путешествия тебе даже пальцем пошевелить не придется. Я все беру на себя. Ты прихватишь отсюда только белье и принадлежности для живописи, да побольше, остальное я сам распоряжусь доставить в Геную.

Верагут молча обнял друга.

— Ты мне помог, Отто, никогда этого не забуду… А теперь пойду вызову автомобиль, в большом доме нас нынче не ждут ни к обеду, ни к ужину. С делами покончено, давай вместе наслаждаться прекрасным днем, как бывало раньше, на кани-

кулах! Покатаемся по окрестностям, полюбуемся красивыми деревеньками, полежим в лесу, отведаем форели и доброго местного вина из толстых стаканов. Какая же чудесная сегодня погода!

— Такая погода стоит уже десять дней, — рассмеялся Буркхардт. И Верагут тоже рассмеялся:

— Ах, мне кажется, солнце давненько не светило так ярко!

Глава седьмая

После отъезда Буркхардта художником овладело странное ощущение одиночества. То самое одиночество, в котором он привык жить год за годом, к которому притерпелся и которого уже почти не замечал, теперь напало на него как незнакомый, совершенно новый враг и удушливо стиснуло со всех сторон. Одновременно он больше чем когда-либо чувствовал себя отрезанным от семьи, даже от Пьера. Он не знал, но вышло так именно оттого, что он впервые высказался о своих обстоятельствах.

В иные часы Верагуту случалось даже познакомиться с пагубным, унизительным чувством скуки. До сих пор он вел неестественную, но целенаправленную жизнь добровольно замурованного узника, который более не имеет интереса к жизни и бытие которого скорее терпение, нежели переживание. Визит друга пробил бреши в его застенке, сквозь сотни трещин блистала и звучала, благоухала и ощупью пробиралась к одинокому жизнь, давние чары рухнули, и пробуждающийся с необычайной силой и чуть ли не

с болью ощущал каждый зов снаружи.

Он яростно ринулся в работу, почти одновременно приступил к двум большим композициям, каждый день начинал чуть свет холодным купанием, работал без перерыва до полудня, затем после короткого отдыха выпивал для бодрости кофе и выкуривал сигару и ночью порой просыпался от сердцебиения или головной боли. Но как он себя ни принуждал и как ни понукал, в его душе под тонким покровом все время живо присутствовало сознание, что есть у него открытая дверь и что в любую минуту один быстрый шаг может вывести его на свободу.

Он не задумывался об этом, постоянным усилием заглушал любые мысли. Ощущение, в каком он жил, было таково: ты можешь уйти в любую минуту, дверь открыта, остается разбить оковы — но это стоит мучительного решения и тяжкой, тяжкой жертвы, а потому не думать об этом, только не думать! Решение, какого ждал от него Буркхардт и к какому, пожалуй, его собственная натура уже была втайне готова, сидело в его душе как пуля в плоти раненого; вопрос лишь в том, выйдет ли оно с гноем наружу или закапсулируется и врастет в нутро. Этот нарыв причинял боль, правда пока терпимую; слишком

сильна была другая боль, которой он страшился, — боль необходимой жертвы. И он ничего не предпринимал, жил с тайной жгучей раной, испытывая в душе отчаянное любопытство, чем все это закончится.

В таком вот бедственном положении он писал большое многофигурное полотно, план которого вынашивал давно и которое вдруг чрезвычайно его увлекло. Замысел возник несколько лет назад и поначалу радовал его, но мало-помалу стал восприниматься как все более пустой и аллегорический, а затем и вовсе опротивел. Теперь же он увидел всю композицию по-новому, как бы свежим взглядом, и начал работу, уже не ощущая аллегории.

Это были три фигуры в натуральную величину — мужчина и женщина, каждый погружен в себя и чужд другому, а между ними играющий ребенок, безмятежно-радостный, не подозревающий о нависшей над ним туче. Личное значение не вызывало сомнений, хотя мужская фигура не походила на художника, а женская — на его жену, только ребенок был Пьер, правда несколькими годами моложе. В этого ребенка он вложил всю прелесть и благородную чистоту лучших своих портретов, тогда как фигуры по обе стороны от

него сидели в оцепенелой симметрии, строгие, горестные образы одиночества, мужчина в печальной задумчивости подпирал голову рукой, женщина целиком ушла в свою беду и пустую безучастность.

В эти дни камердинеру Роберту приходилось нелегко. Господин Верагут стал до странности нервозным. Работая, не терпел ни малейшего шума в соседней комнате.

Тайная надежда, ожившая после визита Буркхардта, огнем горела в груди Верагута, вопреки всем стараниям заглушить ее, продолжала пламенеть, по ночам озаряя его грезы заманчивым и волнующим светом. Он не желал ее слушать, знать о ней не желал, хотел только работать, со спокойной душой. А покоя не находил, чувствовал, как тает лед его безрадостного бытия, как шатаются все опоры его жизни, во сне видел свою мастерскую запертой на замок и опустелой, видел, как жена уезжает от него, вместе с Пьером, и как мальчик тянет к нему тонкие руки. По вечерам он иной раз часами сидел один в своей неуютной маленькой гостиной, рассматривая индийские фотографии, пока не отодвигал их в сторону и не закрывал усталые глаза.

Две силы вели в нем упорную борьбу, но на-

дежда была сильнее. Невольно он снова и снова мысленно повторял разговоры с Отто, все более жаркими всплывали из глубин все подавленные желания и потребности его сильной натуры, из тех глубин, где они так долго стыли в ледяном плену, и перед этим стремлением вверх и вешним теплом давний самообман устоять не мог, вредоносный самообман, что он-де старик и ему остается только терпеть свою жизнь. Глубокий, мощный гипноз смирения рухнул, и сквозь брешь роем вырывались наружу безотчетные инстинктивные силы долго скованной и обманутой жизни.

Чем отчетливее звучали эти голоса, тем пугливее вздрагивало сознание художника в болезненном страхе перед окончательным пробуждением. Снова и снова он судорожно жмурил ослепленные глаза и, трепеща всеми фибрами, противился необходимой жертве.

В большом доме Йоханн Верагут появлялся редко, обеды и ужины ему почти всегда приносили в мастерскую, а вечера он зачастую проводил в городе. Но встречаясь с женой или с Альбером, был тих и кроток и, казалось, думать забыл о былой враждебности.

На Пьера он как будто бы толком не обращал

внимания. Раньше хотя бы раз в день заманивал мальчугана к себе в мастерскую или гулял с ним в саду. Теперь же случалось, что он по нескольку дней не видел ребенка и не стремился к нему. А встретив мальчугана, задумчиво целовал его в лоб, с печальной рассеянностью смотрел в глаза и шел своей дорогой.

Как-то раз в послеобеденное время Верагут забрел в каштановую рощу, день выдался нежаркий, ветреный, косыми струйками крошечных капель моросил теплый дождь. Из открытых окон большого дома доносилась музыка. Художник остановился, прислушиваясь. Незнакомая пьеса. Чисто и с достоинством звучала она в своей очень строгой, гармоничной и спокойной красоте, и Верагут слушал с задумчивой радостью. Странно, вообще-то это была музыка для стариков, сдержанная и суровая, в ней не было совершенно ничего от вакхического угара той музыки, какую он сам когда-то в юности любил превыше всего.

Он тихонько вошел в дом, поднялся по лестнице и без предупреждения, бесшумно появился в музыкальном салоне, где его приход заметила одна только госпожа Адель. Альбер играл, а мать слушала, стоя у рояля; Верагут сел в ближайшее кресло, опустил голову и замер, обратившись в

слух. Потом поднял глаза, посмотрел на жену. Здесь она была дома, в этих комнатах прожила тихие, разочарованные годы, как он прожил их в мастерской у озера, но у нее был Альбер, она находилась с ним рядом, растила его, и теперь этот сын ее гость и друг, он у нее дома. Госпожа Адель чуть постарела, научилась спокойствию и сдержанности, взгляд ее стал твердым, рот — суховатым; однако ж корней она не утратила, прочно стояла в собственной атмосфере, и в этой ее атмосфере росли сыновья. Она не могла уделить ни особенно пылких чувств, ни порывистой нежности, не обладала почти ничем из того, что некогда с надеждой искал у нее муж, но вокруг нее был родной, домашний уют, породой и характером дышали ее лицо, ее существо, ее комнаты, здесь была почва, где могли расти и благодатно процветать дети.

Верагут кивнул, как бы с удовлетворением. Здесь нет никого, кто что-нибудь утратит, если он исчезнет навсегда. В этом доме обойдутся без него. Он будет снова и снова тут и там на свете устраивать себе мастерскую и вести деятельную жизнь, полную жарких трудов, только вот все это никогда не станет родным домом. По правде говоря, он давно это знал, ну и что? Пусть так.

Альбер перестал играть. То ли почувствовал, то ли заметил по глазам матери, что в комнате есть кто-то еще. Обернулся и удивленно, с недоверием взглянул на отца.

— Добрый день, — сказал Верагут.

— Добрый день, — смущенно отозвался сын и принялся перебирать ноты в шкафу.

— Вы музицировали? — доброжелательно спросил отец.

Альбер пожал плечами, словно спрашивая: разве ты не слышал? Он покраснел и спрятал лицо в глубине шкафа.

— Было так замечательно, — с улыбкой продолжал отец. В глубине души он чувствовал, как мешает им его приход, и не без легкого злорадства добавил: — Сыграй, пожалуйста, что-нибудь еще! Что хочешь! Ты сделал большие успехи.

— Ах, мне не хочется, — сердито возразил Альбер.

— Пожалуйста. Прошу тебя.

Госпожа Верагут испытующе посмотрела на мужа.

— Ну же, Альбер, садись! — Она поставила на пюпитр нотную тетрадь. При этом рукав ее задел серебряную корзиночку с розами, стоявшую на рояле, и с десяток бледных лепестков осыпался

на полированное черное дерево.

Юноша сел на фортепианный стул и заиграл. Смущенный и рассерженный, он играл, словно выполняя докучливую обязанность, быстро и равнодушно. Минуту-другую отец внимательно слушал, потом погрузился в раздумья, в конце концов вдруг встал и тихонько вышел вон, не дожидаясь, когда Альбер закончит. Уходя, он слышал, как юноша со злостью барабанит по клавишам, а затем резко обрывает игру. «Вы ничего не потеряете с моим отъездом, — думал художник, спускаясь по лестнице. — Господи Боже мой, как же мы далеки друг от друга, а ведь когда-то были чем-то вроде семьи!»

В коридоре ему навстречу выбежал Пьер, сияющий и в большом волнении.

— О-о, папа, — воскликнул он, переводя дух, — как хорошо, что ты здесь! Представляешь, у меня есть мышка, маленькая живая мышка! Смотри, вот она, в руке… видишь глазки? Ее поймала рыжая кошка, играла с нею и ужас как мучила, отпустит ненадолго, даст отбежать и снова ловит. Тогда я быстренько вмешался и выхватил мышку у нее из-под носа! Что нам теперь с нею делать?

Разгоряченный от радости, он смотрел на отца и все же испуганно вздрогнул, когда мышка в

его кулачке зашевелилась и громко запищала от страха.

— Давай выпустим ее в саду, — сказал отец, — идем!

Он велел принести зонтик и увел мальчика с собой. С просветлевшего неба падали редкие капли, мокрые гладкие стволы буков блестели чугунной чернотой. Среди разросшихся, туго переплетенных меж собою древесных корней оба остановились. Пьер присел на корточки и стал медленно разжимать кулачок. Лицо у него разрумянилось, светло-серые глаза горели напряженным вниманием. И вдруг, словно уже не в силах терпеть, он резко раскрыл ладошку. Мышка, махонький детеныш, со всех ног кинулась прочь, но чуть поодаль замерла возле толстого корня. Было видно, как ее бочкá раздуваются от тяжелого дыхания, а блестящие черные глазенки пугливо озираются по сторонам.

Пьер громко вскрикнул и хлопнул в ладоши. С перепугу мышка, как по волшебству, исчезла под землей. Отец бережно пригладил густые волосы мальчугана.

— Пойдешь со мной, Пьер?

Малыш вложил руку в ладонь отца, и они пошли дальше.

— Теперь мышка уже дома у своих мамы и папы, рассказывает им, что случилось.

Пьер болтал без умолку, взахлеб, а художник чувствовал в ладони теплую ручку, и при каждом слове и восклицании ребенка сердце у него трепетало, снова погружаясь в неволю и тяжкие чары любви.

Ах, никогда в жизни он уже не изведает такой любви, как к этому мальчугану. Никогда больше не будет мгновений, преисполненных жаркой, лучистой нежности, и легкой, невесомой самозабвенности, и кипучей, тоскующей сладости, — мгновений, какие он переживал с Пьером, с этим последним, прекрасным образом его собственной юности. Его грациозность, его смех, свежесть его маленького, самоуверенного существа были последним радостным, чистым звуком в жизни Верагута, так ему казалось; они были для него словно последний пышно цветущий поздней осенью в саду розовый куст. В нем еще держатся тепло и солнце, лето и садовая радость, а когда ненастье или иней отнимают у него листья, приходит конец всей прелести и всякому намеку на блеск и радость.

— Почему ты все-таки не любишь Альбера? — неожиданно спросил Пьер.

Верагут крепче сжал детскую руку.

— Отчего же, я люблю его. Просто он больше любит маму, чем меня. Тут ничего не поделаешь.

— По-моему, он тебя вообще терпеть не может, папа́. И знаешь, он и меня теперь не любит так, как раньше. Только все время играет на рояле или сидит один у себя в комнате. В первый день, когда он приехал, я рассказал ему про свой сад, который сам посадил, и он тогда сразу посмотрел на меня с таким уважением, а потом сказал: «Завтра мы поглядим на твой сад». Но после вовсе про него не спрашивал. Он плохой товарищ, вдобавок у него уже есть усики. И он всегда у мамы, я почти никогда не могу побыть с ней один.

— Так ведь он приехал всего на несколько недель, мальчик мой, не забывай. И если ты застаешь маму не одну, то всегда можешь прийти ко мне. Тебе не хочется?

— Это не одно и то же, папа. Иногда мне хочется прийти к тебе, а иногда больше хочется к маме. И ты всегда ужасно занят работой.

— На это тебе, Пьер, вовсе не нужно обращать внимание. Если хочешь прийти ко мне, приходи когда угодно — слышишь? Когда угодно, даже когда я работаю в мастерской.

Мальчик не ответил. Смотрел на отца, тихонь-

ко вздыхал и выглядел расстроенным.

— Тебя это не устраивает? — спросил Верагут, смущенный выражением детского лица, которое всего несколько мгновений назад светилось бурным мальчишечьим восторгом, а теперь замкнулось и казалось не по годам взрослым.

Он повторил свой вопрос.

— Скажи мне, Пьер! Ты мною недоволен?

— Доволен, папа́. Но я не очень люблю заходить к тебе, когда ты пишешь. Раньше я иногда приходил…

— Ну, и что же тебе тогда не нравилось?

— Знаешь, папа, когда я прихожу к тебе в мастерскую, ты всегда гладишь меня по голове и ничего не говоришь, и глаза у тебя совсем другие, иногда даже сердитые, вот. А если я тебе что-нибудь говорю, то по глазам вижу, что ты вовсе не слушаешь, только говоришь «да-да» и вовсе не слушаешь. Но ведь если я прихожу и хочу что-нибудь тебе сказать, мне хочется, чтобы ты слушал!

— И все-таки ты должен приходить, дорогой мой. Ну сам посуди: если мои мысли целиком сосредоточены на том, над чем я как раз работаю, и если мне приходится обдумывать, как все сделать наилучшим образом, то я иной раз не могу сразу оторваться и слушать тебя. Но я постараюсь,

когда ты опять придешь.

— Да, я понимаю. Мне тоже часто случается что-нибудь обдумывать, и если меня кто-нибудь зовет, велит подойти, мне очень неприятно. Иногда я готов хоть целый день тихонько размышлять, но, как нарочно, именно тогда непременно надо играть, учиться или еще что-нибудь делать, и это очень меня сердит.

Пьер смотрел в пространство перед собой, изо всех сил стараясь выразить то, что имел в виду. Трудная задача, и большей частью тебя до конца не понимают.

Они вошли в Верагутову гостиную. Художник сел, поставил мальчика меж своих колен.

— Я знаю, что ты имеешь в виду, Пьер, — мягко сказал он. — Хочешь теперь посмотреть картинки или лучше порисуешь? Думаю, ты мог бы нарисовать историю с мышонком.

— О да, с удовольствием. Но для этого нужен большой лист бумаги.

Отец достал из ящика стола лист рисовальной бумаги, очинил карандаш и подвинул мальчику стул. И мальчик, стоя на коленках на стуле, вскоре принялся рисовать мышонка и кошку. Верагут, чтобы не мешать, сел позади него и смотрел на тонкую загорелую шею, гибкую спину и

благородную, упрямую голову ребенка, который целиком ушел в свое занятие и трудился, нетерпеливо шевеля губами. Каждый штрих, каждый маленький успех и каждая неудача отчетливо отражались в этих живых губах, в движении бровей и морщинках на лбу.

— Ах, ничего не вышло! — воскликнул Пьер немного погодя, выпрямился, опершись на ладони, и, прищурив глаза, критически взглянул на свой рисунок.

— Не получается! — сердито посетовал он. — Папа, как нарисовать кошку? Моя похожа на собаку.

Отец взял рисунок в руки, с серьезным видом рассмотрел.

— Надо немножко подчистить, — спокойно сказал он. — Голова слишком большая и недостаточно круглая, а лапы слишком длинные. Погоди, сейчас все исправим.

Он осторожно раз-другой провел ластиком по листу, потом взял новый лист и нарисовал на нем кошку.

— Гляди, кошка должна стать вот такой. Присмотрись хорошенько и нарисуй новую.

Однако терпение Пьера иссякло, он отдал карандаш отцу, и тому пришлось рисовать дальше

самому — кошку, потом котенка, потом мышку, потом Пьера, который приходит и освобождает ее, а в конце концов мальчик потребовал нарисовать еще и экипаж с лошадьми и кучером.

Но и это ему вдруг тоже наскучило. Напевая, он несколько раз пробежался по комнате, выглянул в окно, идет ли дождь, и пританцовывая направился к двери. Некоторое время под окнами еще слышался негромкий, звонкий детский голос, потом все стихло, и Верагут остался один, держа в руке лист с кошками.

Глава восьмая

Верагут стоял перед своим большим трехфигурным холстом и писал платье женщины, тонкое, зеленовато-голубое платье, у выреза которого одиноко и печально поблескивало маленькое золотое украшение, которое только и ловило свет, не нашедший места на затененном лице и чуждо и безрадостно стекавший вниз по холодному голубому платью… тот же свет, что рядом радостно и задушевно играл в непокрытых светлых волосах прелестного ребенка.

В дверь постучали, и художник нехотя, с досадой отступил от картины. Когда же немного погодя постучали снова, он решительным шагом подошел к двери и приоткрыл ее.

Там стоял Альбер, который за все каникулы ни единого разу не заходил в мастерскую. В руке он держал соломенную шляпу и слегка неуверенно смотрел в нервное лицо отца.

Верагут впустил его.

— Добрый день, Альбер. Наверно, ты пришел посмотреть мои картины? Здесь их мало.

— О, я не хотел мешать. Хотел только быстро

спросить…

Но Верагут уже закрыл дверь, прошел мимо мольберта к выкрашенному в серый цвет дощатому стояку, где на узких, снабженных роликами подставках располагались его картины, и вытащил ту, что с рыбами.

Альбер смущенно стал рядом с отцом, оба смотрели на поблескивающий серебром холст.

— Тебе вообще живопись по душе? — как бы невзначай спросил Верагут. — Или тебя радует только музыка?

— О, я очень люблю картины, а эта просто чудо как хороша.

— Тебе нравится? Я рад. Попрошу сделать для тебя фото. А как ты чувствуешь себя, вернувшись в Росхальде?

— Спасибо, папá, очень хорошо. Но я правда не хотел мешать, пришел из-за пустяка…

Художник не слышал. Рассеянно смотрел в лицо сына, тем медленно ощупывающим, слегка перенапряженным взглядом, какой обычно бывал у него за работой.

— А как, собственно, вы, нынешняя молодежь, судите об искусстве? То есть кто для вас автори-

тет — Ницше? Или все еще Тэн[7]... умный был мужик, но скучный, этот Тэн... или у вас новые идеи?

— С Тэном я пока не знаком. И ты определенно размышлял об этом куда больше меня.

— Раньше, когда придавал чертовски важное значение искусству, и культуре, и гармонично-прекрасному, и вакхическому, и так далее. А сейчас я рад, когда удается написать добротную картину, и никаких проблем тут больше нет, по крайней мере философских. И если бы меня спросили, почему я, собственно, художник и знай малюю холсты, я бы ответил: я пишу, потому что нет у меня хвоста, чтобы им вилять.

Альбер с удивлением смотрел на отца, который давно не вел с ним таких разговоров.

— Хвоста? В каком смысле?

— В самом простом. У собак, у кошек и прочих даровитых животных есть хвост, и этот хвост выработал из тысяч своих изгибов дивно совершенный арабесковый язык, выражающий не только их мысли, чувства и страдания, но

---

7 Примечания: 7

Тэн Ипполит (1828—1893) — французский философ, социолог искусства, историк; родоначальник культурно-исторической школы; рассматривал искусство как выражение «господствующих типов» разных исторических эпох.

и всякий настрой и порыв их существа, всякое волнение их жизненного ощущения. У нас хвоста нет, а поскольку наиболее энергичным из нас все же требуется нечто в таком роде, они берутся за кисти, фортепиано и скрипки…

Верагут осекся, будто разговор вдруг перестал его интересовать или будто он только теперь заметил, что говорит лишь он один, толком не находя отклика у Альбера.

— Все равно спасибо за визит, — без перехода сказал он. Вновь отошел к мольберту, взял палитру и поискал взглядом место, где оставил последний мазок.

— Прости, папа, я хотел спросить…

Верагут обернулся к сыну, с уже отчужденным взглядом, отрешенный от всего, что не имело касательства к работе.

— Да?

— Можно мне взять Пьера на прогулку в экипаже? Мама позволила, но сказала спросить у тебя.

— Куда же вы собираетесь?

— Покатаемся по округе часок-другой, может быть, до Пегольцхайма доедем.

— Вот как… Кто будет править лошадьми?

— Конечно, я, папа.

— Ну что ж, бери Пьера с собой! Только в одно-

конном экипаже, запряги Гнедко. И не давайте ему слишком много овса!

— Ах, я бы предпочел запряжку парой!

— Увы. В одиночку можешь ездить как угодно; но с малышом — только Гнедко.

Слегка разочарованный, Альбер удалился. В другое время он бы начал спорить или продолжал упрашивать, но сейчас видел, что художник уже целиком ушел в работу, и вообще здесь, в мастерской, в атмосфере своих картин, отец всякий раз, несмотря на все внутреннее противодействие, вызывал у него такое уважение, что он чувствовал себя перед ним жалким мальчишкой и слабаком, хотя в других ситуациях не признавал отцовского авторитета.

Вскоре художник опять углубился в работу, и перерыв, и внешний мир были забыты. Предельно собранным взглядом он сравнивал пространство холста с живой картиной у себя внутри. Чувствовал музыку света, чувствовал, как ее звучащий поток дробится и вновь сливается воедино, как замирает у препятствий, как победно насыщает всякую восприимчивую поверхность, как играет в красках, с капризной, но безошибочной прихотливостью откликаясь тончайшими нюансами, в тысячах преломлений

неразрушимый и в тысячах беспечных блужданий непоколебимо верный своему врожденному закону. Полной грудью он вдыхал пряный воздух искусства, наслаждался строгой радостью творца, который выкладывается до последнего предела и обретает святое счастье свободы, только смиряя железной рукою всякий произвол, а миги свершения переживает только в аскетическом повиновении чувству правдивости.

Странно и огорчительно, но не более странно и печально, чем всякий человеческий удел, — этот сдержанный художник, полагавший, что работать возможно лишь из глубочайшей правдивости и неумолимо ясной сосредоточенности, этот самый человек, в мастерской которого не было места капризу и неуверенности, был в жизни своей дилетантом и тщетно искал счастья, да, он, не представивший миру ни единой неудачной работы, глубоко страдал под мрачным гнетом бессчетных несчастливых дней и лет, неудачных попыток любить и жить.

Он этого не сознавал. Давным-давно утерял потребность видеть свою жизнь в полной ясности. Страдал и противился страданию, в возмущении и в смирении, и кончил тем, что пустил все на самотек и оставил себе только работу. И несги-

баемой его натуре удалось сделать его искусство богаче, глубже и ярче как раз за счет утраченных в жизни богатства, глубины и яркости. Одинокий, настороженный, он, словно заколдованный, укрылся в коконе своей творческой воли и безоглядного усердия, но его существо было здоровым и достаточно упрямым, чтобы запретить себе видеть и признавать нищету этого бытия.

Так было до недавних пор, пока визит друга не взбудоражил его. И теперь одиноким владело пугающее предчувствие опасности и близости рока, он угадывал, что его ждут битвы и испытания, где искусство и усердие уже не смогут спасти его. Его уязвленная человеческая природа чуяла бурю и не находила в себе прочных корней и сил, способных ее выдержать. Лишь мало-помалу одинокая душа художника привыкала к мысли, что скоро придется до дна испить чашу заслуженного страдания.

Сражаясь с этими грозными предчувствиями и робея ясных мыслей, а тем паче решений, вся натура художника, будто в последний раз, вновь напряглась до предела, точно гонимое животное перед спасительным прыжком, и в эти дни внутреннего смятения Йоханн Верагут создал в отчаянном порыве одно из величайших и пре-

краснейших своих произведений — играющего ребенка меж двух склоненных горестных фигур родителей. Несомые той же почвой, обвеянные тем же воздухом и озаренные тем же светом, фигуры мужчины и женщины дышали смертью и жесточайшим холодом, тогда как ребенок меж ними блаженно лучился словно бы собственным светом. И когда позднее, наперекор его собственной скромной оценке, иные поклонники причисляли художника к подлинно великим, то в первую очередь из-за этого полотна, в котором говорила сама боль души, хотя оно не притязало быть ничем, кроме как совершенным образцом ремесла.

В часы работы Верагут забывал о слабости и страхе, о страдании, и вине, и неудавшейся жизни. Не был ни радостен, ни печален; весь во власти своего произведения, целиком им поглощенный, он дышал холодом творческого одиночества и ничего не требовал от мира, который для него исчез и канул в забвение. Быстро и уверенно, выпучив от напряжения глаза, он стремительными мелкими мазками наносил краску, углублял тень, добавлял свободы и мягкости трепещущему на свету листочку или игривому локону. Причем нимало не задумывался, что́ вы-

ражает его картина. Здесь все ясно, то была идея, озарение; теперь же речь шла не о значениях, чувствах и мыслях, но о чистой реальности. Он даже вновь сгладил, почти стер выражение лиц, сочинительство и рассказывание для него важности не имели, и складка плаща у колена была так же знаменательна и священна, как склоненный лоб и сжатые губы. На картине должны предстать только три человека в совершеннейшей предметности, каждый связанный пространством и воздухом с другими и все же обвеянный той уникальностью, что выделяет каждый глубокий образ из несущественного мира отношений и наполняет созерцателя трепетным удивлением перед фатальной необходимостью всякого явления. Так с картин усопших мастеров глядят на нас неведомые люди, чьих имен мы не знаем и не стремимся узнать, — люди более чем живые, загадочные, как символы всего сущего.

Работа продвинулась уже далеко, картина была почти готова. Завершение прелестной детской фигуры он оставил себе напоследок, намеревался приступить к ней завтра или послезавтра.

Минул полдень, когда художник, ощутив голод, посмотрел на часы. Поспешно умылся, переоделся и отправился в господский дом, где нашел в

ожидании за столом только жену.

— Где мальчики? — удивленно просил он.

— Поехали кататься. Разве Альбер не заходил к тебе?

Лишь теперь Верагуту вспомнился визит Альбера. Рассеянно и слегка смущенно он приступил к еде. Госпожа Адель наблюдала, как он небрежно и устало режет кушанья. Вообще-то она уже не ожидала его к столу и, глядя на его утомленное лицо, почувствовала что-то вроде сострадания. Молча подкладывала еду, наливала в бокал вино, и он, угадывая неопределенную симпатию, надумал сказать ей что-нибудь приятное:

— Альбер что же, хочет стать музыкантом? По-моему, у него большой талант.

— Верно, он талантлив. Не знаю только, годится ли в артисты. По всей видимости, он подобным желанием не горит. И вообще не выказал покуда особого интереса ни к какой профессии, его идеал — этакий джентльмен, который учится, а равно занимается спортом, общением и искусством. Обеспечить себя таким образом едва ли возможно, со временем я ему объясню. Но пока что он прилежен, у него хорошие манеры, и я не хочу без нужды чинить препоны и тревожить его. После выпускных экзаменов ему все равно

придется сначала пойти на военную службу. А позднее будет видно.

Художник промолчал. Он чистил банан и с удовольствием вдыхал аромат спелого фрукта, сытный и мучнистый.

— Если ты не против, я бы охотно выпил здесь кофе, — наконец сказал он.

В голосе его сквозили осторожная благожелательность и легкая усталость, будто ему было бы приятно немножко отдохнуть здесь душой.

— Я сейчас же распоряжусь, чтобы принесли кофе… Ты много работал?

Вопрос вырвался у нее совершенно невольно. Она не преследовала никакой цели, хотела только, коль скоро выдался на редкость добрый час, проявить чуточку внимания, а с непривычки это было нелегко.

— Да, я несколько часов писал, — сухо ответил муж.

Вопрос неприятно задел его. У них вошло в привычку никогда не говорить о его работе, и многие из более-менее новых картин она вообще не видела.

Госпожа Адель чувствовала, что светлый миг истекает, и не пыталась его удержать. А Верагут — он уже потянулся за портсигаром, намереваясь

спросить позволения выкурить сигарету, — снова опустил руку и потерял охоту курить. Однако он без спешки выпил кофе, спросил про Пьера, учтиво поблагодарил и задержался еще на несколько минут, рассматривая небольшую картину, которую много лет назад подарил жене.

— Хорошо сохранилась, — сказал он, наполовину самому себе, — и выглядит вполне симпатично. Правда, желтые цветы вообще-то излишни, притягивают на себя слишком много света.

Госпожа Верагут промолчала; по случайности, именно желтые цветы, выписанные необычайно воздушно и тонко, нравились ей на картине больше всего.

Он обернулся и с легкой улыбкой сказал:

— До свидания! И постарайся не слишком скучать до возвращения мальчиков.

С этими словами он вышел из столовой и спустился по лестнице. Внизу его встретила собака, радостно запрыгала вокруг. Он взял в одну руку ее лапы, другой рукой погладил, посмотрел в преданные глаза. Потом окликнул в окно кухонную прислугу, попросил кусочек сахару, дал сахар собаке, бросил взгляд на солнечную лужайку и медленно пошел к мастерской. Как красиво нынче на воздухе, как легко дышится; но ему не

до этого, надо работать.

В спокойном рассеянном свете высокой мастерской стояла его картина. На зеленой лужайке, на которой кое-где виднелись мелкие полевые цветы, сидели три фигуры — склоненный мужчина, погруженный в безнадежные раздумья, женщина, покорно ожидающая, печальная, обманутая в своих надеждах, и ребенок, радостно и безмятежно играющий среди цветов, а над ними могучий поток света, победно разлитый в пространстве и взблескивающий в каждом цветочном венчике с тою же беспечной задушевностью, что и в светлых волосах мальчика и в маленьком золотом украшении на шее горюющей женщины.

Глава девятая

Художник продолжал работу до вечера. И теперь, сложив руки на коленях, ко всему безучастный от усталости, уже некоторое время сидел в кресле, совершенно опустошенный и выжатый, с ввалившимися щеками и слегка воспаленными веками, старый и почти неживой, как крестьянин или дровосек после тяжелейшей физической работы.

С превеликим удовольствием он бы так и сидел, целиком отдавшись усталости и дремоте. Однако суровая дисциплина и привычка одержали верх, и через четверть часа он решительно взял себя в руки. Встал, не бросив более ни взгляда на большую картину, пошел к купальне, разделся и не спеша поплыл вдоль берега.

Вечер выдался молочно-блеклый, от ближайшего проселка, приглушенный парком, долетал шум скрипучих возов с сеном да грубоватые оклики и смех усталых работников и работниц. Поеживаясь, Верагут выбрался на берег, тщательно досуха растер-разогрел тело, прошел в свою маленькую гостиную и закурил сигару.

Этим вечером он собирался писать письма, но сейчас нерешительно выдвинул ящик стола, снова сердито его закрыл и позвонил Роберту.

Камердинер тотчас прибежал.

— Скажите-ка, когда вернулись молодые люди в экипаже?

— Их еще нет, господин Верагут.

— Как, еще не вернулись?

— Нет, господин Верагут. Лишь бы господин Альбер не слишком измотал Гнедко, очень он любит прокатиться с ветерком.

Хозяин не ответил. Он рассчитывал хоть на полчасика залучить к себе Пьера, потому что думал, тот давно вернулся. И нежданное известие раздосадовало его и слегка встревожило.

Он поспешил в большой дом, постучал в комнату жены. Она с удивлением поздоровалась, ведь давненько не случалось, чтобы он навещал ее здесь и в такое время.

— Прости, — сказал он, сдерживая волнение, — но где же Пьер?

Госпожа Адель недоуменно посмотрела на мужа:

— Ты же знаешь, мальчики уехали кататься. — Чувствуя его досаду, она добавила: — Ты никак опасаешься за них?

Он сердито пожал плечами:

— Да нет. Но мне кажется, Альбер неосмотрителен. Он говорил о нескольких часах. Мог бы, по крайней мере, нам телефонировать.

— Так ведь еще рано. К ужину они определенно вернутся.

— Малыш всегда отсутствует, когда мне хочется побыть с ним!

— Какой смысл этак раздражаться. Это же чистая случайность. И Пьер бывает у тебя достаточно часто.

Верагут прикусил губу и молча вышел вон. Она права, нет смысла нервничать, как нет смысла вообще волноваться и чего-то требовать от мгновения! Лучше сидеть в терпеливом спокойствии, как она!

Рассерженный, он вышел во двор, потом на дорогу. Нет, такому учиться незачем, лучше на свой лад — радоваться и сердиться! Эта женщина уже смирила его, сделала кротким и тихим, он уже стал сдержан и стар, а раньше-то он, бывало, затягивал шумное дневное веселье до поздней ночи и в гневе крушил стулья! Гнев и горечь снова вскипели в нем, вместе со страстным желанием увидеть мальчика, чей взгляд и голос только и могли вернуть ему радость.

Большими шагами он шел по вечерней дороге. Послышался шум колес, и он настороженно поспешил навстречу. Увы. Крестьянская кляча с телегой овощей. Верагут окликнул возницу:

— Вы не обгоняли одноконный экипаж, с двумя молодыми людьми на козлах?

Крестьянин, не останавливаясь, покачал головой, и грузная лошадь равнодушно зарысила дальше в тихий вечер.

Художник продолжил путь, чувствуя, как гнев остывает и уходит. Он успокоился, приятная усталость охватила его, и, неспешно шагая, он устремил взгляд на тихий, изобильный пейзаж, неяркий и призрачный в мглистом свете позднего вечера.

Он уже почти не думал о сыновьях, когда после получаса ходьбы встретил их экипаж. Они были уже близко, когда Верагут их заметил. Он остановился под раскидистой грушей и, как только различил лицо Альбера, отступил подальше, чтобы его не увидели и не окликнули.

На козлах сидел один Альбер. Пьер полулежал в углу экипажа, опустив непокрытую голову, и казался спящим. Экипаж проехал мимо, и художник, стоя на обочине пыльной дороги, провожал его взглядом, пока он не скрылся из виду. Тогда

он повернул и пошел обратно. Хорошо бы, конечно, повидать Пьера, но мальчику вскоре пора спать, да и самому Верагуту не хотелось еще раз появляться нынче у жены.

Так что он прошагал мимо парка, мимо большого дома и ворот в город, где поужинал в популярном погребке, а заодно полистал газеты.

Между тем сыновья давно добрались до дома. Альбер сидел у матери, рассказывал. Пьер очень устал, ужинать отказался и теперь спал в своей уютной комнатке. А когда отец ночью вернулся и проходил мимо дома, там уже не было ни огонька. Теплая, беззвездная ночь объяла парк, дом и озеро черной тишиною, и в недвижном воздухе сеялись мелкие, тихие капли дождя.

Верагут зажег свет у себя в гостиной, сел за письменный стол. Спать ему совершенно расхотелось. Он достал лист писчей бумаги и начал письмо Отто Буркхардту. В открытые окна залетали мелкие ночные мотыльки. Он писал:

Дорогой мой!

Едва ли ты сейчас ждешь от меня письма. Но раз я пишу, ты опять-таки ожидаешь больше, чем я могу дать. Думаешь, я наконец-то пришел к ясности и вижу всю

дефектную машинерию моей души так же отчетливо, как, по-твоему, видишь ее ты. Увы, ничего подобного. С тех пор как мы об этом говорили, меня словно осияла зарница, и в иные мгновения мне открываются весьма неприятные вещи; но полной ясности покуда нет.

Стало быть, я не могу сказать, как именно поступлю. Но в путешествие мы отправимся! Я поеду с тобой в Индию, так что, будь добр, обеспечь мне место на пароходе, как только назначишь дату отъезда. Сам я до конца лета уехать не могу, но осенью — чем раньше, тем лучше. Картину с рыбами, которую ты здесь видел, я хочу подарить тебе, только лучше пусть она останется в Европе. Куда мне ее прислать?

Здесь все как обычно. Альбер изображает светского человека, и мы общаемся с необычайной учтивостью, как два посланника неприятельских держав.

До нашего отъезда еще раз жду тебя в Росхальде. Мне необходимо показать тебе картину, которая на днях будет готова. Это хорошая работа и, пожалуй, недур-

ственный финал, если меня вдруг съедят ваши крокодилы, что, кстати, совершенно нежелательно, невзирая ни на что.

Пора в постель, хоть мне и не спится. Нынче провел девять часов за мольбертом.

Твой Йоханн.

Он надписал адрес и положил конверт в передней, чтобы Роберт утром отнес его на почту.

Только выглянув перед сном из окна, художник услыхал шум дождя, на который за столом не обращал внимания. Мягкие струи низвергались из темноты, и, лежа в постели, он еще долго слушал, как дождь все льет и льет, маленькими звонкими водопадами сбегая по отяжелевшей листве на жаждущую землю.

Глава десятая

— Пьер такой скучный, — сказал Альбер матери, когда они вдвоем вышли в освеженный дождем сад, чтобы срезать розы. — Все это время он не слишком мной интересовался, но вчера к нему вообще было не подступиться! Недавно, когда я предложил прокатиться в экипаже, он пришел в восторг. А вчера вовсе не хотел ехать, чуть ли не упрашивать пришлось. И ведь удовольствие для меня было не очень-то велико, поскольку мне не разрешили взять обеих лошадей, я вообще поехал только ради него.

— Он что же, в дороге не слушался? — спросила госпожа Верагут.

— Ах, слушался, конечно, только был ужасно скучный! Иной раз он бывает прямо-таки заносчив. Что бы я ни предлагал, что бы ни показывал, ответом было разве только «да-да» или улыбка, на козлах он сидеть не хотел, не хотел учиться править лошадьми, даже от абрикосов отказался. Точь-в-точь избалованный принц. Весьма неприятно, и я говорю тебе об этом, потому что в другой раз его с собой не возьму.

Мать остановилась, испытующе взглянула на сына; невольно улыбнувшись его волнению, она спокойно смотрела в его горящие глаза.

— Ты большой мальчик, — мягко сказала она, — с Пьером надо иметь терпение. Может быть, он неважно себя чувствовал, ведь и утром почти ничего не ел. Со всеми детьми такое иногда случается, и тебя тоже не миновало. Обычно виной тому легкий катар желудка или дурные сны ночью, а Пьер, конечно, чуть слишком восприимчив и впечатлителен. И потом, пойми, он, наверно, немножко ревнует. Учти, он привык, что я всегда полностью в его распоряжении, а теперь здесь ты, и ему приходится делить меня с тобой.

— Но у меня же каникулы! Это он должен понимать, не дурак ведь!

— Он маленький ребенок, Альбер, и тебе не мешает быть умнее.

Со свежих, блестящих, как металл, листьев еще капала вода. Они прошли к желтым розам, их Альбер особенно любил. Он раздвигал ветки деревьиц, а мать садовыми ножницами срезала цветы, поникшие, слегка будничные и мокрые от дождя.

— А я походил на Пьера, когда был в его воз-

расте? — задумчиво спросил Альбер.

Госпожа Адель опустила руку с ножницами, посмотрела сыну в глаза, потом зажмурилась, стараясь вызвать в памяти его детский облик.

— Внешне ты был довольно похож на него, кроме глаз, и не такой тоненький и стройный, ты пошел в рост позднее.

— А вообще? Я имею в виду — внутренне?

— Что ж, капризы случались и у тебя, мой мальчик. Но мне кажется, в тебе все же было больше постоянства, ты не так быстро менял игры и занятия, как Пьер. И он более порывист, чем ты, менее уравновешен.

Альбер забрал у матери из рук ножницы и нагнулся к розовому кусту, высматривая цветы.

— В Пьере больше от папá, — тихо сказал он. — Послушай, мама, как странно, что в детях повторяются и перемешиваются черты родителей и предков! Мои друзья говорят, в каждом человеке уже с младенчества есть все, что целиком определяет его жизнь, и ничего с этим поделать нельзя, совершенно ничего. Если у кого-нибудь, например, задатки вора или убийцы, ему ничем не помочь, он непременно станет преступником. Вот ужас. Ты ведь тоже этому веришь? Так утверждает наука.

— Мне все равно, — улыбнулась госпожа Адель. — Если некто сделался преступником и убивал людей, то наука, вероятно, может доказать, что он изначально имел такие задатки. Но я нисколько не сомневаюсь, что есть множество добропорядочных людей, которые унаследовали от родителей и пращуров достаточно дурного и все же остаются хорошими людьми, и вот это наука исследовать не умеет. Правильное воспитание и добрая воля, по-моему, надежнее любой наследственности. Мы понимаем, что́ порядочно и что́ справедливо, можем этому научиться и затем действовать соответственно. А уж какие тайны пращуров в нас сокрыты, никому в точности не известно, и лучше не слишком в это вникать.

Альбер знал, что мать никогда не пускается в диалектические диспуты, и, по сути, в глубине души безотчетно соглашался с ее простым образом мыслей. Однако же чувствовал, что опасная тема отнюдь не исчерпана, и охотно сказал бы что-нибудь дельное касательно теории причинности, ведь в изложении иных друзей она всегда казалась ему весьма убедительной. Но он тщетно искал твердых, ясных, неопровержимых слов, а к тому же — не в пример друзьям, которыми восхищался, — чувствовал, что много больше

расположен к моральному либо эстетическому рассмотрению вещей, нежели к научно-беспристрастному, на стороне которого выступал в кругу однокашников. И, оставив эти помыслы, он вернулся к розам.

Между тем Пьер — он вправду неважно себя чувствовал и утром встал намного позже обычного и без бодрости — играл у себя в детской, пока не заскучал. Настроение у него было скверное, и ему казалось, что сегодня непременно должно произойти что-то особенное, иначе этот унылый день так и будет несносным — ни красоты, ни радости.

Томимый смутным ожиданием и недоверием, он вышел из дома и направился в липовую рощу, в поисках чего-нибудь новенького, какой-нибудь находки или приключения. В желудке у него неприятно посасывало, раньше так уже бывало, голова была усталая и, как никогда, тяжелая, он бы с радостью уткнулся сейчас в материны колени и расплакался. Но ведь нельзя, пока здесь гордый старший брат, который и без того постоянно давал ему понять, что он еще маленький.

Вот если бы мама сама догадалась что-нибудь сделать, позвала бы его или предложила поиграть и приласкала. Только она сейчас, конечно

же, опять где-то с Альбером. Пьер чувствовал, день нынче несчастливый и надеяться не на что.

В нерешительности мальчик печально бродил по гравию дорожек, руки в карманы, в зубах увядший стебелек от липового цветка. В утреннем саду было свежо и сыро, а стебелек на вкус горчил. Он с досадой выплюнул его и остановился. Ничего не приходило в голову, не хотелось ему сегодня быть ни принцем, ни разбойником, ни возчиком, ни строителем.

Наморщив лоб, он смотрел под ноги, разгребал мысками ботинок гравий и пинком отшвырнул с дорожки далеко в траву липкого серого слизня. Ничто не заводило с ним разговор, ни птицы, ни бабочки, ничто не смеялось ему навстречу, не веселило его. Все молчало, все выглядело буднично, безнадежно и скудно. Он сорвал с ближайшего куста светло-красную кисточку смородины, попробовал — холодная, кислая. Надо бы лечь и поспать, думал он, поспать подольше, пока все опять не будет выглядеть новым, красивым и веселым. Ведь нет никакого смысла бродить тут, изводить себя и ждать событий, которые не хотят происходить. Как было бы замечательно, если б, к примеру, грянула война и по дороге прискакали солдаты верхом на конях или где-нибудь

случился пожар либо огромное наводнение. Ах, такое случалось только в книжках с картинками, в жизни этаких вещей никогда не видишь, а может, их и вовсе не случается.

Со вздохом мальчик побрел дальше, красивое, нежное личико казалось потухшим и огорченным. Когда за высокой шпалерой послышались голоса Альбера и матери, его захлестнула такая ревность и обида, что из глаз брызнули слезы. Он повернул и побрел прочь, тихо-тихо, чтобы его не услышали не позвали. Не хотелось ему сейчас ни перед кем держать ответ, не хотелось, чтобы его донимали расспросами, твердили, что он должен хорошо себя вести и быть пай-мальчиком. Ему плохо, ужасно плохо, и никому нет до него дела, так что лучше уж в полной мере изведать одиночество и печаль и почувствовать себя вправду скверно.

Думал Пьер и о Господе, которым временами очень дорожил, и на миг эта мысль принесла далекий проблеск утешения и тепла, тотчас же исчезнувший. Наверно, и от Господа тоже никакого проку нет. А ему как раз сейчас очень нужен кто-нибудь, на кого можно положиться и от кого допустимо ожидать чего-нибудь приятного и утешительного.

Тут ему на ум пришел отец. Он безотчетно угадывал, что отец, пожалуй, мог бы его понять, ведь и сам по большей части казался тихим, настороженным и нерадостным. Без сомнения, отец, как всегда, у себя, в большой тихой мастерской, пишет свои картины. Вообще-то нехорошо мешать ему. Правда, он намедни говорил, что Пьер может приходить к нему когда вздумается. Только, поди, уже забыл об этом, взрослые очень быстро забывают свои обещания. Но попробовать можно. Господи, раз нет никакого другого утешения, а оно ему так необходимо!

Поначалу медленно, но, по мере того как разгоралась надежда, все быстрее и решительнее он зашагал по тенистой дорожке к мастерской. Взялся за дверную ручку и замер, прислушиваясь. Да, отец там, слышно, как он покашливает, как легонько постукивают деревянные рукоятки кистей, зажатые в левой руке.

Пьер осторожно нажал на ручку, бесшумно отворил дверь и заглянул внутрь. Крепкий запах скипидара и лака вызвал у него отвращение, но широкая, сильная фигура отца обнадеживала. Мальчик вошел, закрыл за собою дверь. Замок щелкнул, и под пристальным взглядом сына художник, передернув широкими плечами,

обернулся. Зоркие глаза смотрели недовольно и вопросительно, рот досадливо открыт.

Пьер не шевелился. Неотрывно глядел на отца и ждал. Секундой позже глаза Верагута потеплели, сердитое лицо разгладилось.

— Ба-а, Пьер! Мы с тобой целый день не виделись. Мама тебя прислала?

Мальчик покачал головой, позволил себя поцеловать.

— Хочешь побыть со мной, посмотреть, как я работаю? — ласково спросил отец. Одновременно он повернулся к картине и тщательно прицелился острой кисточкой в какое-то место. Пьер следил, как художник вглядывается в свое полотно, вглядывается напряженно и словно бы яростно, как сильная нервная рука целится тонкой кисточкой, как лоб собирается в складки, как зубы прикусывают нижнюю губу. При этом мальчик вдыхал ядреный воздух мастерской, который никогда ему не нравился, а сегодня был особенно противен.

Глаза у Пьера погасли, точно парализованный, он замер возле двери. Все это так хорошо знакомо, и запах этот, и глаза, и гримасы внимания, а потому глупо было ожидать, что сегодня будет не так, как обычно. Отец работал, копался в своих

духовитых красках и не думал ни о чем на свете, кроме своих дурацких картин. Глупо было приходить сюда.

От разочарования лицо мальчика увяло. Он так и знал! Нет для него сегодня приюта, ни у матери, ни тем более здесь.

С минуту он еще рассеянно и печально стоял, устремив невидящий взгляд на большую картину, поблескивающую непросохшими красками. Для нее у папы есть время, а для него нет. Он снова взялся за дверную ручку, нажал на нее, чтобы тихонько уйти.

Однако ж Верагут услышал едва внятный звук. Обернулся, что-то пробормотал и подошел к сыну.

— Что такое, Пьеро? Не уходи! Разве тебе не хочется немного побыть у папа́?

Пьер выпустил ручку и чуть заметно кивнул.

— Ты что-то хотел мне сказать? — мягко спросил художник. — Давай-ка сядем, и ты мне расскажешь. Как вы вчера покатались?

— О, было очень мило, — вежливо ответил мальчик.

Верагут погладил его по волосам.

— Тебе что же, не в пользу? Вид у тебя чуточку заспанный, мальчик мой! Ты вчера, случайно,

вином не угощался, а? Нет? Ну, так чем займемся? Порисуем?

— Не хочу, папа. Сегодня так скучно.

— Вот как? Ты наверное плохо спал? Тогда, может быть, немного гимнастики?

Пьер помотал головой:

— Не хочу. Я просто хочу побыть с тобой, вот. Но здесь так дурно пахнет.

Верагут погладил его по голове и рассмеялся:

— Да, плохо дело, если тебе не нравится запах красок, а ты сын художника. Тогда, верно, и художником не станешь?

— Нет, я и не собираюсь.

— А кем же ты хочешь стать?

— Никем. Лучше всего быть птицей или чем-нибудь в таком роде.

— Да, неплохо. Но скажи-ка мне, солнышко, чего тебе сейчас хочется. Видишь ли, мне нужно продолжить работу над картиной. Если хочешь, оставайся здесь, поиграй. Или дать тебе книгу с картинками?

Нет, он хотел совсем не этого. И просто чтобы уйти, сказал, что пойдет кормить голубей, и зорко отметил, что отец облегченно вздохнул и обрадовался, что он уходит. Мальчик был отпущен с поцелуем и вышел вон. Отец закрыл дверь, и

Пьер снова остался один, пуще прежнего опустошенный. Он побрел прямо по лужайке, где, собственно, ходить не разрешалось, рассеянно и огорченно сорвал цветок-другой, безучастно глядя, как в сырой траве его светлые желтые ботинки покрылись пятнами и потемнели. В конце концов, побежденный отчаянием, он бросился в траву, рыдая, зарылся в нее лицом, почувствовал, как рукава голубой рубашки, промокнув, липнут к плечам.

Только когда начал зябнуть, он безнадежно встал и тихонько прокрался в дом.

Скоро его позовут, и тогда все увидят, что он плакал, а потом заметят мокрую, грязную рубашку и отсыревшие ботинки и выбранят его.

Неприязненно покосившись на кухонную дверь, он прошел мимо, ему не хотелось ни с кем встречаться. Хорошо бы оказаться сейчас где-нибудь далеко-далеко, где никто про него не знает и не станет о нем спрашивать.

Тут он углядел ключ в двери одной из обычно пустующих гостевых комнат. Вошел, закрыл дверь, открытые окна тоже закрыл и сердитый и усталый, не разуваясь, забрался на большую незастланную кровать. И лежал там, то заливаясь слезами в своей безутешности, то впадая в

дремоту. А когда спустя долгое время услышал, как мать зовет его во дворе и на лестнице, отвечать не стал, только упрямо спрятался поглубже под одеялом. Голос матери то приближался, то отдалялся и наконец умолк, но мальчик не смог одолеть упрямство и не отозвался. А в конце концов так и уснул с мокрыми от слез щеками.

В полдень, когда Верагут пришел к обеду, жена тотчас спросила его:

— А Пьера ты с собой не привел?

Он отметил ее слегка взволнованный тон.

— Пьера? Я не знаю, где он. Разве он был не с вами?

Госпожа Адель испугалась, повысила голос:

— Нет, после завтрака я его не видела! А когда искала, девушки сказали мне, что видели, как он шел в мастерскую. Разве он не заходил туда?

— Заходил на минутку и сразу же убежал, — ответил художник и сердито добавил: — Неужели никто в доме не смотрит за ребенком?

— Мы думали, он у тебя, — коротко и обиженно сказала госпожа Адель. — Пойду искать.

— Пошли кого-нибудь за ним! Давайте обедать.

— Можете начинать. Я сама поищу.

Она поспешно вышла из комнаты. Альбер встал, хотел пойти следом.

— Останься, Альбер! — воскликнул Верагут. — Мы же обедаем!

Юноша со злостью посмотрел на него.

— Я пообедаю с мамой, — упрямо сказал он.

Отец иронически усмехнулся, глядя в его взволнованное лицо.

— Да пожалуйста, ты же хозяин в доме, верно? Кстати, если опять вздумаешь бросать в меня ножи, то будь добр, не обращай внимания на предрассудки!

Сын побледнел, отшвырнул стул. Впервые отец напомнил ему ту давнюю яростную вспышку. И он не сдержался:

— Нельзя так говорить со мной! Я этого не потерплю!

Верагут взял ломтик хлеба, откусил кусочек, не ответил. Налил себе в стакан воды, медленно выпил и решил держать себя в кулаке. Сделал вид, будто он здесь один, и Альбер неуверенно отошел к окну.

— Я этого не потерплю! — в конце концов еще раз воскликнул он, не в силах обуздать гнев.

Отец посыпал свой хлеб солью. Мысленно он видел, как поднимается на корабль и плывет по бесконечным чужим морям, далеко-далеко от этой неизбывной свистопляски.

— Ладно, — сказал он почти миролюбиво. — Я вижу, тебе неприятно говорить со мной. Так что оставим разговоры!

В этот миг за дверью послышался удивленный возглас и целый шквал взволнованных слов. Госпожа Адель отыскала мальчика в его убежище. Художник прислушался и быстро вышел из столовой. Похоже, сегодня все идет кувырком.

Пьера он застал в грязных ботинках на разворошенной гостевой кровати, заспанного и заплаканного, со спутанными волосами; перед ним в беспомощном изумлении стояла его мать.

— Малыш! — наконец воскликнула она озабоченно и сердито. — Что ж это такое? Почему ты не отвечаешь? И почему лежишь здесь?

Верагут усадил мальчика, с испугом всмотрелся в тусклые глаза.

— Ты заболел, Пьер? — ласково спросил он.

Мальчик растерянно покачал головой.

— Ты что же, спал? И давно ты здесь?

Тоненьким, жалобным голосом Пьер ответил:

— Я не виноват… Я ничего не сделал… У меня просто болела голова.

Верагут на руках отнес его в столовую.

— Дай ему тарелку супа, — сказал он жене. — Тебе надо поесть горячего, малыш, сразу станет

лучше, вот увидишь. Ты не иначе как захворал, бедняга.

Он усадил мальчика, подсунул ему под спину подушку и сам стал кормить его с ложки супом.

Альбер сидел молча, замкнувшись в себе.

— Кажется, он и правда захворал, — уже почти спокойно сказала госпожа Верагут, как мать она была скорее готова оказывать помощь и ухаживать за больным, чем расследовать необычные шалости и выносить соответственный вердикт.

— Ты только покушай, солнышко мое, а потом ляжешь в постельку, — ласково уговаривала она.

Пьер сидел иссера-бледный, с полусонным взглядом, без сопротивления глотая все, что ему подносили ко рту. Пока отец кормил мальчика супом, мать посчитала ему пульс и обрадовалась, что жара нет.

— Съездить за доктором? — спросил Альбер нетвердым голосом, просто чтобы тоже что-нибудь сделать.

— Нет, не стоит, — сказала мать. — Уложим Пьера в постель, укроем потеплее, он хорошенько выспится и завтра опять будет здоров. Верно, сокровище мое?

Мальчик не слушал и протестующе тряхнул головой, когда отец зачерпнул очередную ложку

супа.

— Нет, неволить его не надо, — сказала мать. — Пойдем, Пьер, ляжем в постельку, и все будет хорошо.

Она взяла его за руку, он неловко встал. Вяло поплелся за матерью, которая потянула его с собою. Но в дверях вдруг замер, изменился в лице, скорчился и в приступе рвоты вытошнил все, что только что съел.

Верагут отнес его в спальню и оставил с матерью.

То и дело звенела сонетка, слуги сновали с поручениями вверх-вниз по лестнице. Художник кое-как дообедал, еще дважды он поднимался к Пьеру, который уже раздетый и умытый лежал в своей латунной кроватке. Потом в столовую спустилась госпожа Адель, сообщила, что ребенок успокоился, на боль не жалуется и, кажется, хочет спать. Отец обернулся к Альберу:

— Что Пьер вчера ел?

Альбер задумался, но, отвечая, обратился к матери:

— Ничего особенного. В Брюккеншванде я угостил Пьера хлебом и молоком, а на обед в Пегольцхайме мы ели макароны с котлетами.

Отец продолжил инквизиторский допрос:

— А потом?

— Он больше ничего не хотел. После обеда я купил у садовника абрикосы. Но он съел всего один или два.

— Они были спелые?

— Конечно. Ты, кажется, думаешь, я нарочно испортил ему желудок.

Мать заметила раздраженность сына и спросила:

— Что с вами такое?

— Ничего, — ответил Альбер.

— Ничего я не думаю, — сказал Верагут, — просто спрашиваю. Вчера ничего не случилось? Его не тошнило? Может, он упал? На боль ни разу не жаловался?

Альбер коротко отвечал «да» и «нет», мечтая, чтобы обед поскорее закончился.

Когда отец еще раз на цыпочках зашел в Пьерову спальню, мальчик спал. Бледное детское личико было исполнено глубокой серьезности, всем своим существом он беззаветно предался утешительному сну.

Глава одиннадцатая

В этот хлопотный день Верагут завершил свое большое полотно. Испуганный, с тревогой в сердце он вернулся от больного Пьера, и ему стоило как никогда большого труда усмирить кружащие в голове мысли и обрести тот идеальный покой, в котором таился секрет его силы и за который он платил так дорого. Но воля его была велика, он преуспел и за послеполуденные часы, при чудесном, мягком освещении, внес последние мелкие поправки и закончил работу.

Когда он отложил палитру и сел перед полотном, в душе у него царила странная пустота. Он, конечно, сознавал, что эта картина нечто особенное и что он очень много в нее вложил. Сам же чувствовал себя опустошенным, выжженным. И не было никого, кому он мог бы показать свою работу.

Друг далеко, Пьер хворает, а больше никого нет. Произведенное впечатление и отклик на свою работу он ощутит лишь из равнодушного далека, из газет и писем. Ах, это же ровным счетом ничего, меньше чем ничего, сейчас лишь взгляд

друга или поцелуй любимой мог бы порадовать его, вознаградить и укрепить.

Четверть часа он в молчании провел перед картиной, которая вобрала в себя силы и добрые часы нескольких недель и, сияя, смотрела ему в глаза, меж тем как он сам сидел перед своим творением измученный и чужой.

— Ладно, продам ее и на вырученные деньги отправлюсь в Индию, — сказал он себе с беспомощным цинизмом. Закрыл дверь мастерской и пошел в большой дом посмотреть, как там Пьер. Мальчик спал. Выглядел он лучше, чем в обед, личико разрумянилось от сна, рот был приоткрыт, выражение муки и безутешности исчезло.

— Как у детей все быстро! — шепотом сказал он с порога жене. Она слабо улыбнулась, и он увидел, что она тоже облегченно вздохнула и что ее тревога тоже была больше, нежели она показывала.

Ужин в обществе жены и Альбера его не привлекал.

— Пойду в город, — сказал он, — нынешним вечером меня здесь не будет.

Больной Пьер дремал в своей детской кроватке, мать затемнила комнату и оставила его одного.

Мальчику грезилось, будто он тихонько идет по

цветнику. Все было немножко иначе, куда больше и просторнее обычного, он шел и шел, а цветник никак не кончался. Клумбы просто загляденье, такими он их никогда не видел, но цветы с виду как бы стеклянные, крупные и непривычные, и все вокруг блистало печально-мертвой красотой.

Слегка оробев, он обошел круглую клумбу с кустами в крупных цветах, голубой мотылек, спокойно высасывая нектар, висел на белом колокольчике. Все тонуло в какой-то неестественной тишине, и на дорожках не гравий, а что-то мягкое, идешь словно по коврам.

По ту сторону клумбы он увидел мать. Но она не заметила его, не кивнула, строго и печально глядела в пространство и беззвучно прошла мимо, точно дух.

Вскоре, на другой дорожке, он увидел отца, а затем и Альбера, и каждый из них молча и сурово шел прямо вперед, и ни один не желал его замечать. Зачарованные, они одиноко и чопорно бродили вокруг, и казалось, так будет вовеки, никогда в их застывших глазах не оживет взгляд, а на лицах — смех, никогда ни один звук не прилетит в эту непроницаемую тишину, и даже легчайший ветерок никогда не шевельнет недвижные ветки и листья.

Хуже всего, что сам он не мог закричать. Ничто ему не мешало, не болело, но недоставало храбрости да и подлинного желания; он понимал: все так и должно быть и, если взбунтуешься, станет только ужаснее.

Пьер медленно шел по роскошному бездыханному саду, в прозрачном, мертвом воздухе блистали тысячи дивных цветов, словно нереальные и неживые; время от времени он встречал то Альбера, то мать, то отца, а они проходили мимо него и мимо друг друга все в той же каменной чуждости.

Ему чудилось, что так продолжается уже давно, может статься годы, и те другие времена, когда мир и сад были живыми, люди веселыми и разговорчивыми, а он сам полон радости и неуемной энергии, — те времена остались немыслимо далеко в глубоком, слепом прошлом. Может статься, так, как сейчас, было всегда, а минувшее всего лишь прекрасный, обманчивый сон.

В конце концов он вышел к небольшому каменному водоему, где садовник раньше наполнял лейки, а сам он когда-то держал несколько крошечных головастиков. Неподвижная вода светилась зеленью, отражала каменный бортик и нависшие сверху листья какого-то вьющегося

растения с желтыми цветами-звездочками — красивая, заброшенная и словно бы несчастная, как и все прочее.

«Коли упадешь туда, утонешь и помрешь», — говорил садовник. Но здесь ведь неглубоко.

Пьер подошел к краю овального водоема, наклонился.

И увидел в воде свое отражение. Лицо такое же, как у других, — старое, бледное, застывшее в глубокой безучастной суровости.

Он смотрел на это лицо с испугом и удивлением, и внезапно его захлестнул потаенный ужас и бессмысленная печаль собственного положения. Он попробовал закричать, но не выдавил ни звука. Хотел громко заплакать, но сумел только скривить лицо в беспомощной ухмылке.

Тут снова появился отец, и Пьер, собрав в неимоверном напряжении все свои душевные силы, обернулся к нему. Весь смертельный страх и вся нестерпимая мука его отчаявшегося сердца, умоляя о помощи, в безмолвном рыдании устремились к отцу, а тот, объятый призрачным покоем, был уже близко и опять словно бы не видел его.

«Папа!» — хотел крикнуть мальчик, и, хотя с губ не слетело ни звука, сила его ужасной беды

все же достигла до тихого одиночки. Отец повернул голову и посмотрел на него.

Пристально, пытливым взглядом художника посмотрел в умоляющие глаза, легонько улыбнулся и едва заметно кивнул ему, ласково и сокрушенно, но не утешая, словно ничем здесь не поможешь. На краткий миг по его суровому лицу скользнула тень любви и сходного страдания, и в этот краткий миг он был уже не могущественным отцом, а скорее бедным, беспомощным собратом.

Затем он вновь устремил взгляд вперед и, не остановившись, тем же медленным, ровным шагом продолжил свой путь.

Пьер смотрел, как он уходит и исчезает, маленький водоем, и дорожка, и цветник потемнели перед его испуганным взором и растаяли, словно туман. Он проснулся с болью в висках и пересохшим горлом, увидел, что лежит в сумеречной комнате совсем один, с удивлением попытался вспомнить, но воспоминаний не было, и он устало и тоскливо повернулся на другой бок.

Лишь мало-помалу он пришел в полное сознание и облегченно вздохнул. Очень скверно — хворать и чувствовать головную боль, но еще вполне терпимо, можно сказать, легко и приятно по сравнению со смертельным ощущением кош-

марного сна.

«Зачем нужны все эти мучения? — думал Пьер, съежившись под одеялом. — Зачем люди хворают? Если это наказание — его-то за что наказывают? Он даже ничего запретного не ел, так случилось только однажды, давно: он наелся недозрелых слив. Ему запрещали, а он все равно ел и наказан был за дело, пришлось отвечать за последствия. Тогда все было ясно. Но сейчас? Почему он теперь лежит в постели, почему его стошнило и почему так ужасно болит голова?»

Он давно лежал без сна, когда в комнату снова вошла мать. Она отодвинула штору, мягкий вечерний свет затопил комнату.

— Как дела, дорогой? Хорошо поспал?

Он не ответил. Лежа на боку, посмотрел вверх, на нее. Она с удивлением выдержала его взгляд, странно испытующий и серьезный.

«Жара нет», — успокоенно подумала она.

— Кушать хочешь?

Пьер слабо помотал головой.

— Принести тебе что-нибудь?

— Воды, — тихо сказал он.

Она дала ему воды, но он отпил лишь глоточек и снова закрыл глаза.

Неожиданно из комнаты матери донеслись

бравурные звуки фортепиано. Широкой волной хлынули в комнату.

— Ты слышишь? — спросила госпожа Адель.

Пьер широко раскрыл глаза, лицо его мучительно исказилось.

— Нет! — воскликнул он. — Нет! Оставьте меня!

Он ладонями зажал уши и зарылся головой в подушку.

Госпожа Верагут со вздохом прошла в салон и попросила Альбера прекратить игру. Потом вернулась и сидела у постели Пьера, пока он снова не задремал.

Этим вечером в доме царила тишина. Верагут ушел в город, Альбер был в дурном настроении и страдал оттого, что нельзя играть на рояле. Все рано легли спать, и мать оставила свою дверь открытой, чтобы услышать Пьера, если ночью ему что-нибудь понадобится.

Глава двенадцатая

Поздно вечером, возвращаясь из города, художник настороженно, с тревогой обошел вокруг большого дома: не видно ли где освещенного окна и не слышно ли хлопанья дверей или го́лоса — знаков того, что его любимец все еще болен и страдает. Но все было тихо, спокойно, все спало, и страх упал с плеч, как тяжелое сырое платье, и он, умиротворенный и благодарный, еще долго потом лежал без сна. И уже засыпая, невольно улыбнулся и с удивлением отметил, как мало нужно, чтобы утешить сокрушенное сердце. Все, что мучило его и тяготило, все томительное, унылое бремя его жизни обратилось в прах, стало легким и незначительным на фоне любви и тревоги о ребенке, и едва эти дурные тени растаяли, как все словно бы посветлело и сделалось вполне сносным.

В добром настроении он непривычно рано пришел в большой дом, с радостью нашел малыша еще крепко спящим и позавтракал вдвоем с женой, так как и Альбер еще не вставал. Впервые за много лет Верагут в этот час сидел в доме, за

столом госпожи Адели, и она, едва веря своим глазам, наблюдала, как он сердечно, в добром расположении духа, будто все это в порядке вещей, попросил чашечку кофе и, как в давние времена, разделил с нею завтрак.

В конце концов он тоже заметил ее выжидательную настороженность и непривычность минуты.

— Я так рад, — сказал он голосом, напомнившим его жене о лучших годах, — так рад, что наш малыш, кажется, идет на поправку. Только сейчас я осознал, как сильно о нем тревожился.

— Н-да, вчера он мне совсем не понравился, — согласилась она.

Играя серебряной кофейной ложечкой, он прямо-таки лукаво смотрел ей в глаза, с чуть заметным отблеском той внезапной и быстротечной мальчишеской веселости, которую она когда-то особенно в нем любила и нежное сияние которой унаследовал только Пьер.

— Да, — бодро начал он, — в самом деле просто счастье. Теперь я наконец поговорю с тобой и о моих ближайших планах. По-моему, зимой тебе надо поехать с обоими мальчиками в Санкт-Мориц и побыть там подольше.

Она нерешительно опустила взгляд:

— А ты? Будешь там писать?

— Нет, я с вами не поеду. На некоторое время оставлю вас одних, хочу попутешествовать. Запру мастерскую и осенью двинусь в путь. Роберт получит отпуск. А ты сама решай, оставаться ли на зиму здесь, в Росхальде. Я бы не советовал, поезжай лучше в Женеву или в Париж, и не забудь Санкт-Мориц, Пьеру он пойдет на пользу!

Жена растерянно и недоверчиво посмотрела на него:

— Ты шутишь.

— О нет, — улыбнулся он слегка меланхолично, — шутить я давно разучился. Я говорю серьезно, и ты должна мне поверить. Я намерен совершить морское путешествие и пробуду в отлучке довольно долго.

— Морское путешествие?

Она с усилием взяла себя в руки. Его предложения, намеки, веселый тон — все было ей непривычно и вызывало недоверие. Но морское путешествие… Неожиданно она прямо воочию увидела, как он поднимается на корабль, как носильщики несут за ним багаж, вспомнила картинки на плакатах пароходных компаний и собственные морские путешествия по Средиземному морю и мгновенно все поняла.

— Ты едешь с Буркхардтом! — оживленно воскликнула она.

Он кивнул:

— Да, я еду с Отто.

Некоторое время оба молчали. Госпожа Адель была поражена и догадывалась, что́ значит это известие. Быть может, он хочет оставить ее, дать ей свободу? Во всяком случае, это была первая серьезная попытка такого рода, и в глубине души она испугалась, что чувствует так мало волнения, тревоги и надежды, а уж о радости вообще речи нет. Пожалуй, для него новая жизнь еще возможна, но не для нее. Ей будет легче с Альбером, и Пьера она завоюет, только вот навсегда останется брошенной женой. Сотни раз она представляла это себе как свободу и избавление; однако сегодня, когда все, казалось бы, могло стать реальностью, на нее нахлынуло столько страха, стыда и ощущения вины, что она оробела и была уже не в состоянии ничего желать. Чутье подсказывало: так должно было случиться раньше, во времена бед и бурь, когда она еще не научилась смирению. Теперь все уже слишком поздно и бесполезно, не более чем итоговая черта под решенными делами, просто завершение и горькая констатация сокрытого и полупризнанного, без малейшего

проблеска новых жизненных соблазнов.

Верагут внимательно читал в сдержанном лице жены, ему было жаль ее.

— Давай попробуем, — мягко сказал он. — Вы просто без помех поживете вместе, ты и Альбер… и Пьер тоже, ну, скажем, в течение года. Я думал, тебе так будет удобно, да и детям наверняка пойдет на пользу. Им ведь, поди, тоже несладко, оттого… оттого что мы не сумели толком справиться с жизнью. И нам самим продолжительная разлука кое-что прояснит, тебе не кажется?

— Возможно, — тихо сказала она. — Надо полагать, ты уже все решил.

— Да, и написал Отто. Мне ведь нелегко разлучиться с вами на такой долгий срок.

— Ты хочешь сказать, с Пьером.

— Конечно, в особенности с Пьером. Знаю, ты прекрасно о нем позаботишься. Я не могу ожидать, что ты будешь много говорить ему обо мне, но не поступай с ним так, как с Альбером!

Она протестующе тряхнула головой:

— Это не моя вина, ты же знаешь.

Он осторожно положил руку ей на плечо, с неловкой, давно забытой нежностью.

— Ах, Адель, давай оставим разговоры о вине. Ладно, во всем виноват я. И хочу попытаться

загладить вину, вот и все. Об одном прошу: не дай мне потерять Пьера, если это возможно! Через него мы пока что связаны друг с другом. Постарайся не омрачать его любовь ко мне.

Она закрыла глаза, словно защищаясь от искушения, потом нерешительно сказала:

— Ты долго пробудешь в отлучке… А он ведь ребенок…

— Конечно. Пусть и останется ребенком! Пусть забудет меня, если иначе нельзя! Но помни, он — залог, который я оставляю тебе, а для этого я должен очень тебе доверять.

— Альбер идет, — быстро прошептала она, — сейчас будет здесь. Мы после еще поговорим. Все не так просто, как ты думаешь. Ты даешь мне свободу, притом больше свободы, чем я когда-либо имела и желала, и тотчас возлагаешь на меня ответственность, которая связывает меня по рукам и ногам! Позволь мне еще подумать. Ты ведь тоже принял решение не в одночасье, так что дай и мне немного времени.

За дверью послышались шаги, вошел Альбер.

Он удивился, увидев отца. Неловко поздоровался, поцеловал госпожу Адель и сел завтракать.

— У меня есть для тебя сюрприз, — спокойно начал Верагут. — Осенние каникулы можешь

провести с мамой и с Пьером, где вам заблагорассудится, и Рождество тоже. Я уезжаю путешествовать, на несколько месяцев.

Молодой человек явно обрадовался, но, стараясь не подать виду, полюбопытствовал:

— Куда же ты едешь?

— Пока точно не знаю. Сперва отправлюсь с Буркхардтом в Индию.

— О, так далеко! Один из моих однокашников родился там, кажется в Сингапуре. Там до сих пор охотятся на тигров.

— Надеюсь, что да. Если вдруг подстрелю одного, то, конечно, привезу шкуру. Но вообще я собираюсь там писать.

— Могу себе представить. Я читал про одного французского художника, он жил где-то в тропиках, по-моему на острове в южных морях… Наверно, это замечательно.

— Правда? А вы тем временем поживете в свое удовольствие, будете сколько угодно музицировать, кататься на лыжах. Ну, не буду вам мешать! Пойду посмотрю, что делает малыш.

И он вышел, не дожидаясь ответа.

— Все-таки иногда папа просто выше всяческих похвал, — восторженно сказал Альбер. — Путешествие в Индию, мне нравится, в этом есть стиль.

Мать с усилием улыбнулась. Она утратила равновесие и чувствовала себя будто на суку, который подпиливают. Но молчала, постаралась придать лицу ласковое выражение, в этом у нее был большой опыт.

Художник вошел к Пьеру, сел у его кровати. Тихонько достал узкий альбомчик и принялся набрасывать голову и руку спящего мальчика. Хотел до отъезда, не мучая Пьера сеансами, как можно чаще и лучше рисовать его и запечатлевать в памяти. Со всем вниманием и нежностью старался воссоздать милый облик, контуры мягких волос, красивые нервные ноздри, тонкую, безвольно лежащую руку и упрямо-породистую линию крепко сомкнутых губ.

Верагут редко видел мальчика в постели, впервые застал его спящим не с по-детски приоткрытыми губами и, рассматривая не по годам твердый, выразительный рот, вдруг отметил сходство со ртом своего отца, Пьерова деда, человека смелого, гораздого на выдумки и притом страстно-неугомонного; глядя на ребенка и работая, он размышлял об этой целенаправленной игре природы с чертами и судьбами отцов, сыновей и внуков, и у него, отнюдь не склонного к философии, мелькнула мысль о грозно-восхити-

тельной загадке душевной преемственности и неизбежности.

Спящий неожиданно открыл глаза и встретился взглядом с отцом, и вновь тот отметил, как не по-детски серьезны этот взгляд и это пробуждение. Немедля отложив карандаш, он захлопнул альбомчик, наклонился к проснувшемуся ребенку, поцеловал его в лоб и весело сказал:

— Доброе утро, Пьер. Тебе лучше?

Малыш со счастливой улыбкой потянулся. О да, ему лучше, намного лучше. Память медленно оживала. Верно, вчера он хворал и пока что чувствовал над собою тень ужасного дня. Но теперь было намного лучше, ему только хотелось еще чуточку полежать, понежиться в тепле и спокойной благости этих минут, а потом он встанет, и позавтракает, и пойдет с мамой в сад.

Отец ушел за мамой. Пьер, жмурясь, глядел на окно — за желтоватыми шторами сиял светлый, веселый день. И день этот полнился обещаниями, благоухал всевозможными радостями. А вчера было ужас как уныло, холодно и тускло! Он зажмурил глаза, чтобы забыть об этом, и почувствовал, как в вялых, сонных членах, пробуждаясь, потягивается милая жизнь.

Вот и мама, принесла ему в постель яйцо и

чашку молока, а папа обещал новые цветные карандаши, и все были милы и ласковы и радовались, что снова видят его здоровым. Прямо как день рождения, а что нет пирога, так это не беда, по-настоящему он пока не проголодался.

Как только оделся, он, в свежем голубом летнем костюмчике, отправился в мастерскую к отцу. Вчерашний жуткий сон канул в забвение, но в глубине души еще трепетало эхо ужаса и муки, и теперь ему было необходимо видеть и чувствовать, что вокруг него в самом деле солнце и любовь.

Отец вымерял раму для новой картины и встретил его с радостью. Но Пьеру не хотелось задерживаться надолго, он забежал только поздороваться и приласкаться. Потом ему надо дальше, к собаке и к голубям, к Роберту и на кухню, надо снова со всем поздороваться, все принять во владение. После он пошел с мамой и Альбером в сад, и ему казалось, будто минул целый год с тех пор, как он плакал здесь, в траве. Качаться на качелях охоты не было, но он провел рукой по сиденью, прошел к кустам и цветочным клумбам, и, словно из прошлой жизни, на него повеяло смутным воспоминанием, будто он одиноко блуждал здесь среди клумб, брошенный и безутешный. Теперь

все опять полнилось светом и жизнью, жужжали пчелы, а дышалось легко и радостно.

Ему позволили нести мамину цветочную корзинку, они складывали туда гвоздики и крупные георгины, а он заодно собрал особый букет, который намеревался позднее отнести отцу.

Когда они вернулись в дом, Пьер устал. Альбер предложил поиграть, но ему хотелось прежде немного отдохнуть. Он сел на веранде в материно большое плетеное кресло, не выпуская из рук букет для отца.

Объятый приятной истомой, он закрыл глаза, повернулся к солнцу и порадовался, чувствуя, как свет пронизывает веки красным теплом. Потом удовлетворенно оглядел свой красивый чистый костюмчик и принялся подставлять солнцу блестящие желтые ботинки, то правый, то левый. Так чудесно — спокойно и слегка устало сидеть в уюте и чистоте, только вот гвоздики пахнут слишком сильно. Он положил их на стол, отодвинул как можно дальше. Надо поскорее поставить их в воду, чтобы не завяли, прежде чем папа их увидит.

Пьер думал об отце с непривычной нежностью. Как же все было вчера? Он наведался в мастерскую, отцу было недосуг, он работал, стоял перед

картиной такой одинокий, и прилежный, и чуточку печальный. Это ему хорошо запомнилось. Но потом? Разве потом он не встретил отца в саду? Он с усилием пытался вспомнить. Ну да, отец расхаживал по саду, туда-сюда, одинокий, с чужим, страдальческим лицом, и он хотел его окликнуть… Как же все было? Вчера случилось что-то страшное, жуткое или он слышал про что-то такое, но никак не мог вспомнить, что именно.

Откинувшись на спинку глубокого кресла, Пьер размышлял. Солнце теплыми желтыми лучами светило ему на колени, но радость потихоньку таяла. Он чувствовал, что мысли все ближе подступают к той жути, чувствовал: как только он ее найдет, она опять им завладеет, она стояла за спиной, подстерегала. Всякий раз, едва воспоминание подбиралось к этой грани, возникало неприятное ощущение дурноты, голова кружилась и снова слегка болела.

Гвоздики раздражали его своим слишком сильным запахом. Они лежали под солнцем на плетеном столике и увядали, так что если он еще хочет подарить их отцу, то сейчас самое время. Но он уже не хотел, вернее хотел, только очень устал, и от света болели глаза. А главное, должен

обдумать, что́ произошло вчера. Он чувствовал, оно совсем близко, надо лишь мысленно ухватить его, однако ж оно ускользало, терялось.

Головная боль усиливалась. Ах, ну отчего так должно быть? Ему ведь было нынче так весело!

Госпожа Адель окликнула его с порога и тотчас вошла. Увидела цветы на солнце, хотела послать Пьера за водой, но, взглянув на мальчика, заметила, что он бессильно обмяк в кресле, а по щекам катятся крупные слезы.

— Пьер, дитя мое, что с тобой? Тебе плохо?

Он посмотрел на нее не шевелясь и снова закрыл глаза.

— Солнышко мое, скажи, что у тебя болит? Хочешь в кроватку? Поиграем? Где больно?

Пьер покачал головой, в лице отразилось недовольство, словно она досаждала ему.

— Оставь меня, — прошептал он.

А когда она приподняла его и привлекла к себе, мальчик, будто на миг охваченный яростью, не своим голосом выкрикнул:

— Оставь же меня!

Секунду спустя протест угас, он снова обмяк в ее объятиях, а когда она подняла его, слабо застонал, измученно наклонил голову и содрогнулся от приступа рвоты.

Глава тринадцатая

С тех пор как Верагут поселился один в своем маленьком новом доме, жена бывала у него крайне редко. И когда сейчас она, не постучав, быстро и взволнованно вошла в мастерскую, он мгновенно почуял дурную весть, инстинкт предупредил его так уверенно, что она не успела сказать ни слова, а у него уже вырвался вопрос:

— Что-то с Пьером?

Она торопливо кивнула:

— Должно быть, он всерьез захворал. Вел себя довольно странно, а недавно его опять вырвало. Ты должен съездить за доктором.

Пока она говорила, взгляд ее скользнул по пустому просторному помещению и остановился на новой картине. Она не видела фигур, не узнала даже малыша Пьера, просто неотрывно смотрела на полотно, вдыхая воздух комнаты, где уже много лет обитал ее муж, и смутно угадывая ту же атмосферу одиночества и упрямой самодостаточности, в какой давно жила сама. Но мгновение спустя она оторвала взгляд от картины и попыталась ответить художнику, который

встревоженно сыпал вопросами.

— Будь добра, вызови по телефону автомобиль, прямо сейчас, — наконец сказал он, — так будет быстрее, чем в экипаже. Я сам поеду в город, только руки вымою. Буду в доме через несколько минут. Ты ведь уложила его в постель?

Четверть часа спустя он сидел в автомобиле, направляясь к единственному врачу, которого знал и который раньше иногда бывал у них в доме. По старому адресу он доктора не нашел, тот переехал. Разыскивая новую его квартиру, он встретил докторский экипаж, врач поздоровался с ним, он ответил и, только когда уже проехал мимо, сообразил, что он-то ему и нужен. Повернул обратно и нашел докторский экипаж возле дома какого-то пациента, пришлось ждать, минуты тянулись мучительно медленно. Наконец доктор вышел, Верагут перехватил его в дверях и попросил сесть в автомобиль. Доктор упирался и возражал, пришлось увезти его чуть ли не силой.

Автомобиль тотчас помчался в Росхальде, а врач положил руку Верагуту на колено и сказал:

— Что ж, я ваш пленник. И вынужден заставить ждать других, которые во мне нуждаются, как вам известно. Ну, что у вас стряслось? Ваша жена

захворала? Нет? Значит, малыш. Как бишь его зовут? Да, верно, Пьер. Давненько я его не видал. Что с ним? Несчастный случай?

— Он болен, со вчерашнего дня. Нынче утром все было как будто бы в порядке, он встал, немного поел. А теперь вот опять рвота, и что-то у него, кажется, болит.

Худой рукой врач провел по некрасивому умному лицу.

— Вероятно, желудок. Посмотрим. В остальном у вас все хорошо? Прошлой зимой я видел вашу выставку в Мюнхене. Мы вами гордимся, почтеннейший.

Он взглянул на часы. Оба молчали, когда шофер переключил скорость и автомобиль с громким пыхтеньем поехал в гору. Скоро они добрались до места, но вышли у ворот усадьбы, которые были закрыты.

— Подождите меня! — крикнул доктор шоферу.

Они быстро пересекли двор, вошли в дом. Мать сидела у постели Пьера.

Врач тотчас перестал торопиться. Без спешки принялся осматривать больного, попытался разговорить мальчика, успокоил мать добрым словом и как бы невзначай создал атмосферу доверия и деловитости, которая благотворно

подействовала и на Верагута.

Пьер симпатии доктору не выказывал, притих, был сердит и недоверчив. Когда ему ощупывали и мяли живот, он насмешливо скривил губы, словно считал все это нелепым и бесполезным.

— Отравление, судя по всему, исключено, — осторожно сказал врач, — и аппендикс в полном порядке. Видимо, просто несварение желудка, а в таком случае самое милое дело — ждать и поститься. Сегодня ничего мальчику не давайте, кроме черного чая, если он захочет пить, а вечером можно дать глоточек бордо. Если все будет хорошо, утром на завтрак чай и сухарик. Если возникнут боли, можете позвонить мне по телефону.

Только на крыльце госпожа Верагут начала его расспрашивать. Однако ничего нового не услышала.

— Желудок, по-видимому, изрядно расстроен, а ребенок явно весьма чувствительный и нервный. Температуры нет. Но вечером померяйте. Пульс несколько слабоват. Если лучше не станет, завтра я опять приеду. Мне кажется, ничего серьезного.

Он быстро попрощался и снова заспешил. Верагут проводил его до автомобиля.

— Это надолго? — спросил он в последнюю

минуту.

Врач громко рассмеялся:

— Вот уж не думал, что вы такой пугливый, господин профессор. Мальчик слегка изнеженный, а несварением желудка мы все в детстве страдали, и не раз. Честь имею!

Верагут знал, что в доме обойдутся без него, и задумчиво зашагал в поля. Скупые, сдержанные манеры доктора успокоили его, теперь он и сам удивлялся, что мог быть так встревожен и напуган.

С чувством облегчения он шел, вдыхая жаркий воздух синего полудня. Ему казалось, будто уже сегодня он совершает прощальную прогулку по этим лугам, среди шпалер плодовых деревьев, и на душе у него было вполне хорошо и свободно. Задумавшись, откуда в нем взялось новое ощущение решенности, он понял, что это результат утреннего разговора с госпожой Аделью. Он сообщил ей о своих планах отправиться в путешествие, а она выслушала его спокойно и не пыталась возражать, все окольные пути и лазейки меж его решением и исполнением теперь отрезаны, ближайшее будущее лежало перед ним совершенно ясное и определенное, вот почему на душе было так хорошо, вот почему пришло

успокоение и новое чувство уверенности в себе.

Сам не зная, куда направляется, он пошел той дорогой, где несколько недель назад гулял со своим другом Буркхардтом. Только когда проселок начал подниматься в гору, он сообразил, где находится, и вспомнил тогдашнюю прогулку с Отто. Осенью он думал написать рощицу на холме, со скамьей и таинственно полутемным проемом, в котором открывался вид на ясный, живописно отдаленный ландшафт голубоватой речной долины, намеревался посадить на скамью Пьера, чтобы светлая головка мальчика мягко проступала на фоне сумрачно-коричневого лесного света.

Художник сосредоточенно поднимался к вершине, уже не чувствуя зноя близкого полудня и напряженно ожидая того мгновения, когда над гребнем холма завиднеется лесная опушка, а в памяти вновь ожил тот день с Буркхардтом, он вспоминал разговоры, даже отдельные слова и вопросы друга, еще по-весеннему яркие краски ландшафта, зелень которого с тех пор стала куда темнее и мягче. И тут его неожиданно охватило ощущение, которого он давным-давно не испытывал и внезапное возвращение которого отчетливо напомнило ему юность. Ему почудилось, будто после той прогулки с Отто прошло

много-много времени и сам он с тех пор вырос, стал другим и ушел вперед, а потому смотрел на свое тогдашнее «я» с несколько ироничным сочувствием.

Захваченный врасплох этим совершенно юношеским ощущением, которое два десятка лет назад было в порядке вещей, а теперь коснулось его словно редкостное волшебство, он мысленным взором окинул нынешнее лето и обнаружил то, чего вот только что и вчера еще не знал. Вернувшись на два-три месяца назад, он обнаружил, что за этот краткий срок успел преобразиться, продвинуться вперед и ныне видел свет и уверенно угадывал путь там, где совсем недавно была только тьма и беспомощная неуверенность. Его жизнь словно бы вновь стала прозрачной рекой, могучим потоком, решительно стремящим свои воды в назначенном им направлении, тогда как прежде он долго толокся в тихом болотистом озере, нерешительно кружа на одном месте. Теперь ему было ясно, что путешествие никак не приведет его снова сюда, что здесь ему больше нечего делать, разве только проститься, и неважно, пусть даже сердце при этом болит и обливается кровью. Его жизнь опять текла рекой, и течение решительно увлекало его навстречу свободе и

грядущему. В глубине души, сам того не сознавая, он уже распрощался с городом и здешним краем, с Росхальде и с женой.

С огромным облегчением Верагут остановился, как бы поднятый и охваченный волною провидческой догадки. Он подумал о Пьере, и свирепая, режущая боль злобно пронизала все его существо, когда он осознал, что должен пройти свой путь до конца и расстаться также и с Пьером.

Он долго стоял так, по лицу пробегала дрожь, и хотя его терзала жгучая боль, в ней все же были жизнь и свет, ясность и будущее. Вот чего хотел от него Отто Буркхардт. Вот этой минуты ждал его друг. Наконец свершилось то, о чем он говорил: давние язвы, которые долго щадили, теперь разрезаны, вскрыты. Рана причиняла боль, нестерпимую боль, но, отринув любимые желания, он чувствовал, как уходят нервозность и разлад, неурядицы и паралич души. Вокруг него настал день, безжалостно светлый, прекрасный, сияющий день.

В волнении он прошел последние несколько шагов к вершине холма, сел на затененную каменную скамью. Все его существо бурлило кипучей жизнью, словно к нему вернулась юность, и в искренней благодарности он обратился мыс-

лями к далекому другу, без которого никогда бы не отыскал этот путь, так бы и остался навеки в затхлом больном плену и в конце концов зачах.

Однако ж его натуре было несвойственно подолгу задумываться или подолгу пребывать в крайних настроениях. Вместе с чувством выздоровления и вновь обретенной воли он весь наполнился новым сознанием дерзновенной силы и властолюбивой личной мощи.

Он встал, открыл глаза и по-хозяйски устремил бодрый взгляд на свою новую картину. Сквозь лесную тень долго смотрел вниз, в далекую и светлую речную долину. Он напишет этот пейзаж, не станет ждать до осени. Задача мудреная, архисложная, ведь тут необходимо разрешить восхитительную загадку: с любовью написать этот дивный сквозной вид, с такой же любовью и сноровкой, как писали тонкие старые мастера, скажем Альтдорфер или Дюрер[8]. Здесь мало владеть светом и его мистическим ритмом, любая мельчайшая форма должна здесь выступить полноправно, быть точно продуманной и взвешенной, подобно травинкам в чудесных полевых

8 Примечания: 8

Альтдорфер Альбрехт (1480—1538) — немецкий живописец и график эпохи Возрождения; *Дюрер Альбрехт (1471—1528)* — немецкий живописец и график, основоположник искусства немецкого Возрождения.

букетах его матери. И прохладно-светлая даль долины, благодаря теплому потоку света на переднем плане и лесным теням отступающая вдвое дальше, должна, точно драгоценный камень, блистать из глубины картины, прохладная и сладостная, чуждая и манящая.

Верагут посмотрел на часы — пора домой. Ему не хотелось нынче заставлять жену ждать. Но прежде он все-таки достал блокнотик для эскизов и, стоя в лучах полуденного солнца на гребне холма, энергичными штрихами набросал скелет картины: масштабы перспективы, общий контур и многообещающий овал с прелестным видом вдаль.

Поэтому он опять немного припозднился и, не обращая внимания на жару, поспешил вниз по крутой солнечной дороге. Думал он о том, что́ ему понадобится для работы, решил встать завтра чуть свет, чтобы увидеть пейзаж в первых утренних лучах, и на сердце было так хорошо и радостно, оттого что впереди вновь ожидала прекрасная, заманчивая цель.

— Что поделывает Пьер? — перво-наперво спросил он, когда торопливо вошел в столовую.

Госпожа Адель сообщила, что малыш спокойный, но усталый, болей он как будто бы не

испытывает, лежит терпеливо и тихо. Лучше его не тревожить, он странно чувствителен и вздрагивает, едва откроется дверь, и вообще от любого внезапного шороха.

— Ну да, ну да, — согласно кивнул Верагут, — я зайду к нему попозже, пожалуй, ближе к вечеру. Извини, что я немного запоздал, прогулка затянулась, а с завтрашнего дня хочу поработать на пленэре.

Обед прошел в мирной тишине, сквозь опущенные жалюзи в прохладную комнату вливался зеленый свет, все окна были открыты, и в полуденном покое долетал со двора плеск маленького фонтана.

— Для Индии тебе понадобится особое снаряжение, — сказал Альбер, — ты и охотничьи принадлежности с собой возьмешь?

— Да нет, вряд ли, у Буркхардта все найдется. Он даст мне совет. Думаю, надо захватить с собой живописные принадлежности в запаянных железных ящиках.

— А тропический шлем будешь носить?

— Непременно. Но его можно купить по дороге.

Когда после трапезы Альбер ушел, госпожа Верагут попросила мужа ненадолго задержаться.

Села в свое плетеное кресло у окна, он тоже принес кресло, сел рядом.

— Когда ты уезжаешь? — спросила она для начала.

— О, все целиком зависит от Отто, как он скажет. Думаю, примерно в конце сентября.

— Так скоро? Я еще не успела толком все обдумать. Сейчас у меня все мысли о Пьере. Но полагаю, из-за него ты не станешь требовать от меня слишком много.

— Я и не собираюсь, нынче я еще раз все обдумал. Ты во всем будешь совершенно свободна. Понятно ведь, невозможно путешествовать по свету и при этом требовать участия во всех здешних делах. Ты должна действовать по собственному усмотрению. Столь же свободно, сколь и я.

— Но что с этим домом? Мне бы не хотелось оставаться здесь в одиночестве, слишком на отшибе, слишком далеко, да и чересчур много воспоминаний, которые мне мешают.

— Я уже говорил, поезжай куда хочешь. Росхальде принадлежит тебе, ты знаешь, а перед отъездом я еще раз все проверю, на всякий случай.

Госпожа Адель побледнела. Всмотрелась в лицо

мужа с почти враждебным вниманием.

— Ты так говоришь, будто не намерен сюда возвращаться, — обронила она стесненным голосом.

Он задумчиво прищурился, устремил взгляд в пол.

— Как знать. Я пока понятия не имею, как долго буду отсутствовать, а что Индия благоприятствует здоровью людей моего возраста, я не очень-то верю.

Она резко тряхнула головой:

— Я не об этом. Умереть может каждый. Я имею в виду, намерен ли ты вообще вернуться сюда.

Он молча прищурил глаза, потом слабо улыбнулся и встал.

— Думаю, лучше обсудить это в другой раз. Помнишь, последняя ссора случилась у нас несколько лет назад, когда мы говорили именно об этом. Мне бы не хотелось больше ссориться здесь, в Росхальде, по крайней мере с тобой. Полагаю, мнение твое с тех пор не изменилось. Или сегодня ты бы отдала мне малыша?

Госпожа Верагут молча покачала головой.

— Так я и думал, — спокойно сказал Верагут, — не будем сейчас об этом. Как я уже говорил, ты можешь распорядиться домом по своему усмот-

рению. Я не стремлюсь сохранить Росхальде, и если подвернется случай удачно его продать, то так и сделай!

— Значит, Росхальде конец, — обронила она с глубокой горечью, думая о первоначальном времени, о младенческих годах Альбера, обо всех своих тогдашних надеждах и ожиданиях. И вот, значит, каков конец.

Верагут, уже направляясь к двери, еще раз обернулся и мягко воскликнул:

— Не принимай это так близко к сердцу, дитя мое! Если хочешь, можешь все сохранить.

Он вышел во двор, спустил с цепи собаку и зашагал к мастерской, собака с восторженным лаем скакала вокруг него. Что ему Росхальде! Усадьба относилась к числу вещей, к которым он более не имел касательства. Сейчас он впервые чувствовал превосходство над женой. Он поставил точку. Принес в сердце жертву, отказался от Пьера. И с той минуты, когда совершил эту жертву, всем своим существом был устремлен только вперед. Росхальде для него кончилось, перестало существовать, как многие другие несбывшиеся надежды, как юность. Оплакивать его нет смысла! Он позвонил, прибежал Роберт.

— Я буду несколько дней писать на приро-

де. Приготовьте небольшой этюдник, зонт, к завтрашнему утру все должно быть в порядке. Разбудите меня в половине шестого.

— Слушаюсь, господин Верагут.

— Это все. Погода не испортится? Как по-вашему?

— Думаю, постоит еще… Простите, господин Верагут, я хотел бы кой о чем спросить.

— Да?

— Прошу прощения, я слыхал, вы уезжаете в Индию.

Верагут с удивлением рассмеялся:

— Быстро же слух разошелся. Альбер, стало быть, разболтал. Ну да, я собираюсь в Индию, но туда я вас с собой взять не могу, Роберт, увы. Там не держат европейских слуг. Однако если вы позднее опять вернетесь ко мне, буду рад! Пока же я с удовольствием найду для вас хорошее место, а жалованье выплачу вплоть до нового года.

— Спасибо, господин Верагут, большое спасибо. Может быть, оставите мне ваш адрес? Я вам напишу. Дело в том… ох, все не так просто… у меня есть невеста, господин Верагут.

— Вот как, у вас есть невеста?

— Да, господин Верагут, и коли вы меня уволите, будет свадьба. Я ведь обещал ей не поступать

на новое место, если уйду отсюда.

— Ну, тогда вы, поди, рады, что уйдете прямо сейчас. Но мне жаль, Роберт. Чем займетесь, когда женитесь?

— Она хочет открыть вместе со мной сигарную лавку.

— Сигарную лавку? Роберт, это не для вас.

— Вы уж простите, господин Верагут, надо попробовать. И с вашего позволения… может, я все-таки останусь у вас на службе? Покорнейше прошу, не серчайте на такой вопрос, господин Верагут.

Художник хлопнул его по плечу:

— Старина, как это понимать? Вы хотите жениться, хотите открыть нелепую лавку, а при том хотите остаться у меня? По-моему, тут что-то не так… Женитьба вам не очень-то по душе, Роберт?

— С позволения сказать, господин Верагут, ваша правда, не по душе. Она, конечно, старательная, невеста моя, тут возразить нечего. Но я бы предпочел остаться при вас. Нрав у нее крутой, и…

— Но почему вы тогда хотите жениться? Вы же боитесь ее! У вас ребенок? Или?

— Нет, чего нет, того нет. Просто осаждает она меня ужас как…

— В таком случае подарите ей красивую брошь,

Роберт, я дам вам талер. Подарите брошь и скажите, чтобы поискала кого другого для своей сигарной лавки. Сошлитесь на меня, дескать, это я так сказал. И устыдитесь немножко. Даю вам неделю сроку. Глядишь, и узнаю, боитесь вы девиц или нет.

— Ладно, ладно. Я ей скажу…

Верагут перестал улыбаться. Сердито сверкнул на Роберта глазами и вскричал:

— Вы ее прогоните, Роберт, или между нами все кончено. Фу, жениться по принуждению! Ступайте и поскорее покончите с этим!

Он набил себе трубку, взял большой альбом и угольный карандаш и отправился на лесной холм.

Глава четырнадцатая

Голодание не очень-то помогло. Пьер Верагут съежившись лежал в постели, нетронутая чашка с чаем стояла рядом. Его старались без нужды не тревожить, ведь на вопросы он не отвечал и всякий раз, когда кто-нибудь входил в комнату, невольно вздрагивал. Мать часами сидела подле его постели, что-то шептала нараспев, ласково и успокоительно. Ей было тревожно и страшно; казалось, маленький больной упрямо цепляется за свою тайную боль. Ни на вопросы, ни на просьбы, ни на предложения он не отзывался, сердито смотрел в пространство перед собой и не желал ни спать, ни играть, ни пить, ни слушать книжки. Врач приходил два дня подряд, говорил мало, назначил прохладные компрессы. Пьер подолгу лежал в легком забытьи, как бывает при горячке, что-то невнятно бормотал в своих смутных полубессознательных грезах.

Верагут уже несколько дней писал на пленэре. И когда нынче в сумерках пришел в большой дом, тотчас спросил о мальчике. Жена попросила его не заходить к больному, ведь любой шум раздра-

жает Пьера, а сейчас он как будто бы задремал. Поскольку госпожа Адель говорила мало и после недавнего утреннего разговора испытывала в его обществе неловкость и недовольство, расспрашивать он не стал, пошел в купальню и провел вечер в приятных хлопотах и горячем волнении, какое всегда ощущал при подготовке новой работы. Он уже написал на холме несколько этюдов и намеревался завтра приступить к самой картине. С удовольствием отбирал картоны и холсты, чинил рассохшиеся подрамники, выискивал всевозможные кисти и живописные принадлежности, будто ему предстояло небольшое путешествие, даже приготовил полный кисет табаку, трубку и огниво, словно турист, который спозаранку отправится в горы и, полный ожидания, не знает перед сном ничего лучше, кроме как любовно думать о завтрашнем дне и припасти к утру все до мелочей.

Затем он за бокалом вина не торопясь просмотрел вечернюю почту. Пришло радостное, душевное письмо от Буркхардта, к которому друг присовокупил составленный с прямо-таки женской тщательностью список того, что Верагуту надлежит взять с собой в дорогу. Посмеиваясь, художник от начала до конца прочел весь список,

где не были забыты ни шерстяные бандажи, ни ночные рубашки, ни гамаши. Внизу Буркхардт карандашом приписал: «Все прочее я для нас обеспечу, в том числе и каюты. Ни в коем случае не позволяй навязать тебе средства от морской болезни и индийскую литературу, предоставь все мне».

С улыбкой он занялся большим тубусом, в котором молодой дюссельдорфский художник с благоговейным посвящением прислал ему несколько своих офортов. И сегодня у него нашлось для них и время, и настроение, он внимательно просмотрел листы, выбрал лучший для своих папок, остальные отдаст Альберу. Автору он написал любезное письмецо.

Напоследок Верагут открыл альбом и долго разглядывал множество сделанных на холме набросков. Ни один не удовлетворял его до конца, и завтра он хотел попробовать другой, более широкий фрагмент, а если картина и тогда не сложится, будет писать этюды, пока не получится как задумано. Завтра он, во всяком случае, поработает со всем тщанием, а дальше посмотрим. И эта работа станет его прощанием с Росхальде; бесспорно, это самый проникновенный и прекрасный пейзаж во всей округе, и он надеялся,

что не напрасно приберегал его на потом. Тут бойкого эскиза мало, надо сделать настоящую картину, тонкую, взвешенную, продуманную. Для быстрых, лихих зарисовок на природе, с их трудностями, поражениями и победами, хватит времени в тропиках.

Лег Верагут рано и крепко спал, пока Роберт не разбудил его. Поеживаясь от бодрящей утренней прохлады, он мигом вскочил с постели, выпил стоя чашку кофе и заторопил камердинера, которому велел нести холст, складной стул и ящик с красками. Вскоре оба вышли из дома и направились в еще по-утреннему блеклые луга, художник впереди, Роберт следом за ним. Прежде Верагут хотел было спросить на кухне, спокойно ли спал Пьер. Но большой дом был еще на замке, все спали.

Госпожа Адель допоздна сидела подле малыша, так как его как будто бы немного лихорадило. Она слушала тихий невнятный лепет ребенка, щупала пульс, поправляла постель. А когда пожелала ему доброй ночи и поцеловала, он открыл глаза и посмотрел ей в лицо, но ничего не ответил. Ночь прошла спокойно.

Утром, когда она пришла, Пьер не спал. Завтракать он не желал, однако попросил книжку

с картинками. Мать сама сходила за книжкой. Подложила Пьеру под голову вторую подушку, раздвинула шторы на окне и дала ему книжку, открыв картинку с большим, лучистым золотисто-желтым солнцем, которая ему особенно нравилась.

Он поднес книжку к лицу, яркий веселый утренний свет упал на страницу. Но тотчас по нежному лицу мальчика пробежала темная тень боли, разочарования и недовольства.

— Фу, больно же! — страдальчески воскликнул он и опустил книжку.

Мать подхватила ее, снова поднесла к его глазам.

— Это ведь твое любимое солнышко, — успокаивая, сказала она.

Он закрыл глаза ладонями.

— Нет, забери ее. Оно такое противно-желтое!

Со вздохом мать забрала книгу. Бог весть, что такое с ребенком! Ей, конечно, знакомы иные его сантименты и капризы, но такого до сих пор не бывало.

— Знаешь что, — ласково сказала она, — сейчас я принесу тебе замечательного горячего чайку, ты сам положишь туда сахару и закусишь вкусным сухариком.

— Не хочу!

— А ты попробуй! Тебе пойдет на пользу, вот увидишь.

Он страдальчески, со злостью смотрел на нее:

— Но я же не хочу!

Она вышла и долго не возвращалась. Мальчик щурился на свет, который казался слишком ярким и причинял боль. Он отвернулся. Неужели для него больше нет ни утешения, ни хоть чуточки удовольствия, ни маленькой радости? С плаксивым упрямством он уткнулся лицом в подушку и сердито прикусил мягкое, пресное на вкус полотно. Словно вернулся в самое раннее детство. Когда его совсем маленького укладывали в постель, а сон никак не приходил, он кусал подушку и равномерно ее жевал, пока не уставал и не засыпал. Этим он сейчас и занялся, медленно погружаясь в тихое забытье, приятное и покойное.

Через час снова пришла мать. Склонилась к нему и сказала:

— Ну что, Пьер снова будет послушным мальчиком? Давеча ты вел себя очень дурно, и мама расстроилась.

Она прибегла к сильному средству, которое в другое время действовало почти безотказно, но

сейчас произнесла эти слова с опаской: вдруг он примет их слишком близко к сердцу и расплачется. Но Пьер будто вовсе не обратил внимания на ее слова, и она довольно строго спросила:

— Ты ведь знаешь, что давеча вел себя невоспитанно?

В ответ он едва ли не насмешливо скривил губы и равнодушно посмотрел на нее.

Вслед за тем пришел доктор.

— Его опять тошнило? Нет? Отлично. А ночь прошла спокойно? Что он ел на завтрак?

Когда он усадил Пьера и повернул лицом к окну, тот снова вздрогнул, словно от боли, и закрыл глаза. Доктор пристально всматривался в это странно сильное выражение протеста и пытки на детском лице.

— Он и на шумы так чутко реагирует? — шепотом спросил он у госпожи Адели.

— Да, — тихо ответила она, — на фортепиано вообще нельзя играть, он просто приходит в отчаяние.

Врач кивнул и до половины задернул штору. Потом поднял мальчика из постели, прослушал сердце и маленьким молоточком постучал по суставам чуть ниже колен.

— Все-все, — ласково сказал он, — теперь мы

оставим тебя в покое, малыш.

Он опять осторожно уложил Пьера, взял за руку и с улыбкой кивнул.

— Нельзя ли мне зайти к вам на минутку? — тоном кавалера осведомился он у госпожи Верагут, и она провела его в свои комнаты.

— Расскажите-ка мне побольше о вашем мальчике, — ободряюще сказал доктор. — Мне кажется, он весьма нервный, и некоторое время нам надобно хорошенько за ним ухаживать, вам и мне. Про желудочные расстройства мы забудем. Он непременно должен кушать. Вкусную, укрепляющую пищу: яйца, бульон, свежие сливки. Попробуйте яичный желток. Если он больше любит сладкое, сбейте в чашке желток с сахаром. И скажите-ка мне, вы что-нибудь еще за ним замечали?

Озабоченная, но несколько успокоенная его любезно-уверенным тоном, она начала рассказывать. Больше всего ее пугала безучастность Пьера, кажется, он теперь совершенно ее не любит. Ему безразлично, просят его или ругают, он ко всему равнодушен. Когда она рассказала про книжку с картинками, доктор кивнул и, уже вставая, сказал:

— Не невольте его, пусть делает что хочет!

Он болен и сейчас не в ответе за свои выходки. Постарайтесь оставить его в покое! Если будут головные боли, делайте компрессы со льдом. А вечером подержите подольше в теплой ванне, это усыпляет.

Доктор попрощался, настояв, чтобы она не провожала его вниз по лестнице.

— Проследите, чтобы он нынче поел! — уходя, повторил он.

Внизу он зашел в открытую дверь кухни и спросил камердинера Верагута.

— Кликните сюда Роберта! — приказала повариха служанке. — Он, поди, в мастерской.

— Нет-нет! — вскричал доктор. — Я сам туда схожу. И не провожайте меня, я знаю дорогу.

Он с шуткой вышел из кухни и, тотчас же посерьезнев, задумчиво направился под каштанами к мастерской.

Госпожа Верагут еще раз обдумала каждое слово врача, но ясности не было. Доктор определенно относился к Пьерову недомоганию серьезнее, чем раньше, однако ничего плохого, пожалуй, не сказал и был так деловит и спокоен, что, наверно, большой опасности все же нет. Видимо, состояние слабости и нервозности, которое само пройдет, нужны лишь лишь терпение и хороший уход.

Она прошла в музыкальную комнату, заперла рояль, чтобы Альбер по забывчивости не принялся вдруг играть. И задумалась, в которой из комнат можно бы поставить инструмент, если недомогание затянется.

Время от времени она заглядывала к Пьеру, осторожно приоткрывала дверь и прислушивалась, спит он или стонет. Каждый раз он не спал, апатично смотрел перед собой, и она опять уходила огорченная. Она бы предпочла ухаживать за ним в опасности и боли, нежели видеть его таким замкнутым, недовольным и безучастным; ей казалось, странная незримая пропасть отделяет его от нее, какое-то отвратительно цепкое заклятие, разорвать которое ее любовь и забота не в силах. Тут затаился какой-то подлый, ненавистный враг, замашки его и коварные намерения никому неведомы, и оружия против него нет. Быть может, назревает какая-то горячка, скарлатина или иная детская хворь.

В огорчении она некоторое время оставалась у себя. Взгляд ненароком упал на букет таволги, она наклонилась над круглым столиком красного дерева, чья красно-коричневая поверхность темным теплом просвечивала сквозь ажурную белую салфетку, и, закрыв глаза, зарылась лицом

в пушистые, мягкие летние цветы, вдохнула сильный и сладкий аромат, в глубине отдававший таинственной горечью.

Когда она, слегка одурманенная, снова выпрямилась и скользнула праздным взглядом по цветам, по столику и по всей комнате, в ней волной всколыхнулась горестная печаль. Душа ее внезапно насторожилась, она оглядела комнату и стены, и неожиданно ковер и столик с цветами, часы и картины показались ей чужими, посторонними, она увидела, что ковер скатан, картины упакованы и все сложено в повозку, которая повезет все эти вещи, у которых более нет ни родины, ни души, прочь отсюда, на новое, неизвестное, безразличное место. Она увидела Росхальде опустевшим, с закрытыми окнами и дверьми, и ощутила, как от всех клумб в саду веет одиночеством и болью разлуки.

То были всего лишь мгновения. Прихлынули и снова ушли, будто тихий, однако настойчивый зов из тьмы, будто мимолетное, обрывочное виде́ние будущего. И из слепых глубин ощущений до сознания отчетливо дошло вот что: скоро она с Альбером и с больным Пьером утратит родной приют, муж покинет ее, а в душе навсегда останутся потерянное отупение и холод долгих лет

без любви. Она будет жить ради детей, но уже не найдет собственной, прекрасной жизни, которую когда-то надеялась обрести с Верагутом и на которую еще до вчерашнего и нынешнего дня втайне по-прежнему уповала. Слишком поздно. Рассудочный вывод заставил ее поежиться.

Но тотчас же ее здоровая натура запротестовала. Ей предстояло беспокойное и смутное время, Пьер хворал, каникулы Альбера подходили к концу. Сейчас нельзя, никак нельзя давать волю слабости, идти на поводу у подспудных голосов. Сперва Пьер должен выздороветь, Альбер — уехать, а Верагут — отправиться в Индию, ну а дальше посмотрим, тогда будет время пожаловаться на судьбу и выплакаться. Сейчас это бессмысленно, недопустимо, ни под каким видом.

Она переставила вазу с таволгой к окну. Прошла в спальню, смочила носовой платок одеколоном и протерла лоб, осмотрела в зеркале строгую гладкую прическу и спокойным шагом направилась на кухню, чтобы собственными руками приготовить что-нибудь для Пьера.

Затем она усадила мальчика в постели и, не обращая внимания на его протестующие жесты, строго и внимательно принялась кормить его с

ложки желтком. Закончив, утерла ему рот, поцеловала в лоб, поправила постель и сказала быть паинькой и поспать.

Когда с прогулки вернулся Альбер, она провела его на веранду, где легкий летний ветерок играл в туго натянутых коричнево-белых полосатых маркизах.

— Опять приезжал доктор, — рассказала она. — У Пьера непорядок с нервами, ему требуется полный покой. Мне очень жаль, но играть на рояле в доме пока нельзя. Знаю, для тебя это огромная жертва, мальчик мой. Может быть, в такую прекрасную погоду тебе лучше съездить куда-нибудь на несколько дней, в горы или в Мюнхен? Папа наверное возражать не станет.

— Спасибо, мама, очень мило с твоей стороны. Пожалуй, я съезжу куда-нибудь на денек, но не больше. Иначе ты будешь совсем одна, пока Пьер хворает. И мне теперь надо взяться за школьные задания, я ведь все это время бездельничал. Только бы Пьер поскорее поправился!

— Вот и хорошо, Альбер, молодец. Для меня сейчас и правда нелегкое время, и я рада, что ты со мной. Отношения с папой у тебя тоже улучшились, верно?

— Да, с тех пор как он решил отправиться в

путешествие. Кстати, я мало его вижу, он целыми днями пишет. Знаешь, порой я жалею, что так часто дерзил ему… он, конечно, тоже меня мучил, но чем-то он мне все равно по душе. Конечно, он до ужаса односторонний и в музыке мало что понимает, но он все-таки большой художник, и у него есть дело жизни. Вот что мне в нем так импонирует. Он ничего ни имеет от своей славы, да и от денег тоже, не ради этого работает.

Альбер наморщил лоб, подыскивая слова. Но подходящих слов так и не нашел, хотя ощущение было вполне определенное. Мать улыбнулась, пригладила ему волосы.

— Давай вечером опять почитаем по-французски? — осторожно предложила она.

Он кивнул и тоже улыбнулся, а ей в этот миг подумалось: как же опрометчиво и непостижимо, что совсем недавно она могла желать себе иной судьбы, нежели жизнь ради сыновей.

Глава пятнадцатая

Незадолго до полудня на лесной опушке появился Роберт, чтобы помочь хозяину донести до дома живописные принадлежности. Верагут написал новый этюд, и его он понесет сам. Теперь он точно знал, какой должна быть картина, и рассчитывал через день-другой с нею справиться.

— Завтра опять пойдем сюда, — с удовольствием воскликнул он и усталыми глазами прищурился на слепящий полуденный мир.

Роберт обстоятельно расстегнул сюртук и вытащил из нагрудного кармана бумагу. Слегка помятый конверт без адреса.

— Велено вам передать.

— Кем велено?

— Господином доктором. Он утром, в десять, спрашивал вас; но сказал, чтобы я не отрывал вас от работы.

— Ладно. Вперед!

Слуга зашагал впереди с рюкзаком, складным стулом и мольбертом, Верагут остановился и в предчувствии недобрых вестей распечатал конверт. Там оказалась только визитная карточка

доктора, на которой карандашом, торопливо и не очень разборчиво, было написано: «Пожалуйста, зайдите ко мне после обеда, хочу поговорить с Вами о Пьере. Его недомогание не столь безобидно, как я сказал Вашей жене. Не пугайтесь понапрасну, пока мы не поговорили».

Усилием воли Верагут укротил страх, который уже сдавливал горло, взял себя в руки и еще дважды внимательно перечитал записку. «Не столь безобидно, как я сказал Вашей жене!» Вон он, враг. Жена отнюдь не так хрупка и не так слабонервна, чтобы оберегать ее от пустячной мелочи. Значит, дело плохо, Пьер в опасности, может умереть! Но он опять-таки написал «недомогание», а это слово звучит вполне безобидно. И потом, «не пугайтесь понапрасну»! Нет, все наверное не так уж скверно. Может быть, что-то заразное, детская болезнь. Может быть, врач хочет изолировать мальчика, поместить в больницу?

Размышляя, он немного успокоился. Медленно спустился с холма и по горячему проселку зашагал домой. Конечно, он выполнит просьбу доктора и перед женой виду не покажет.

Но возле дома его все же настигло нетерпение. С картиной в руках, не умывшись, он поспешил в дом — поставил непросохший холст у стены

под лестницей — и тихонько поднялся в комнату Пьера. Жена была там.

Он наклонился к мальчику, поцеловал его волосы.

— Добрый день, Пьер. Как дела?

Пьер слабо улыбнулся. А секунду спустя ноздри его затрепетали, принюхиваясь, и он крикнул:

— Нет-нет, уходи! Ты так дурно пахнешь!

Верагут послушно отошел.

— Это всего лишь скипидар, мой мальчик. Папá еще не умывался, потому что хотел прежде заглянуть к тебе. Я прямо сейчас пойду переоденусь, а потом вернусь к тебе. Согласен?

Он вышел, захватил внизу картину, меж тем как в голове все звучал жалобный голос ребенка.

За столом он выспросил, что сказал доктор, и с радостью услышал, что Пьер поел и его не стошнило. Однако волнение и боязнь остались, и он с трудом поддерживал разговор с Альбером.

Потом Верагут полчаса просидел у постели Пьера, который лежал спокойно и лишь временами, точно от боли, хватался за лоб. С тревожной любовью он смотрел на узкий рот, казавшийся вялым и больным, на красивый чистый лоб, где сейчас залегла между бровей маленькая вертикальная складка, болезненная, но по-детски мягкая и

подвижная складка, которая исчезнет без следа, когда Пьер поправится. А он непременно должен поправиться — хотя тогда будет вдвое больнее уехать и покинуть его. Мальчик должен расти дальше в своей тонкой и светлой мальчишеской красоте и, словно цветок, дышать солнцем, пусть даже он, отец, никогда больше не увидит его и распростится с ним навсегда. Он должен поправиться, должен стать красивым радостным человеком, в котором будет жить самое нежное и чистое от натуры его отца.

Пока он сидел у постели ребенка, в нем забрезжила догадка, сколько горечи еще предстоит изведать, прежде чем все это останется позади. Губы его дрожали, сердце защищалось от острого жала, но в глубине, под всем страданием и страхом, он чувствовал в себе твердую, неколебимую решимость. Вот так и надо, ни боль, ни любовь ее уже не пошатнут. Однако ему надлежало еще пережить это последнее время, не уходя от страданий, он был готов испить свою чашу до дна, поскольку безошибочно чуял, что путь к жизни лежит для него только через эти темные врата. Если он сейчас смалодушничает, если сбежит, ограждая себя от боли, то никогда не выберется из болотного ила и отравы в ту чистую священную

свободу, к которой так стремился и ради которой был согласен на любые муки.

Что ж, прежде всего нужно поговорить с доктором. Он встал, ласково кивнул Пьеру и вышел. Мелькнула мысль, не попросить ли Альбера отвезти его к доктору, и он направился к нему в комнату, впервые за все лето. Энергично постучал в дверь.

— Войдите!

Альбер читал, сидя у окна. Поспешно вскочил и с удивлением шагнул навстречу отцу.

— У меня есть к тебе маленькая просьба, Альбер. Ты не мог бы побыстрее отвезти меня в экипаже в город? Можешь? Замечательно. Тогда будь добр, помоги запрячь лошадей, дело спешное. Сигарету?

— Да, спасибо. А теперь пойду к лошадям.

Скоро оба сидели в экипаже, Альбер на козлах правил упряжкой, и в городе Верагут, попросив остановить на углу одной из улиц, на прощание похвалил его:

— Большое спасибо. Ты сделал успехи и очень хорошо управляешься лошадьми. А теперь до свидания, я вернусь пешком.

Он быстро зашагал по солнечной стороне. Доктор жил в тихом фешенебельном районе,

и в эту пору дня тамошние улицы были почти безлюдны. Поливальная повозка сонно катила по мостовой, двое маленьких мальчишек бежали за ней, подставляли ладошки под тонкие струйки и со смехом обрызгивали друг другу разгоряченные мордашки. Из открытого окна в нижнем этаже доносились скучливые звуки фортепиано, кто-то уныло упражнялся. Верагут всегда питал глубокую неприязнь к безлюдным городским улицам, тем паче летом, они напоминали ему о юности, когда он жил на таких улицах в дешевых скучных комнатах, где на лестнице пахло кофе и кухней, а окна выходили на мансарды, стойки для выбивания ковров и некрасивые, до смешного маленькие палисадники.

В передней меж больших картин в золотых рамах и больших ковров его встретил легкий медицинский запах, молодая девушка с длинном белоснежном сестринском фартуке взяла у него визитную карточку. Сначала она провела художника в приемную, где, разглядывая журналы, тихо и печально сидели в плюшевых креслах несколько женщин и молодой мужчина, а затем, по его просьбе, проводила его в другую комнату, где большими шнурованными пачками во множестве лежали годовые комплекты меди-

цинского журнала, и не успел он толком там осмотреться, как девушка вернулась и пригласила его к доктору.

И теперь Верагут сидел в большом кожаном кресле средь ослепительной чистоты и целесообразности, а напротив за письменным столом сидел врач, маленький и строгий; в высоком кабинете царила тишина, только небольшие блестящие настольные часы из стекла и латуни звонко и ровно тикали.

— Н-да, ваш мальчик мне не очень нравится, дорогой маэстро. Вы не замечали в нем уже некоторое время странностей, я имею в виду, головных болей, усталости, нежелания играть и прочего?.. Только в самое последнее время? И давно ли он так чувствителен? К шуму и яркому свету? К запахам?.. Вот как? Он терпеть не может запах красок в мастерской! Да, все верно, одно к одному.

Он задавал множество вопросов, и Верагут отвечал как бы в легком дурмане, с ощущением боязливого внимания и тайного восхищения мягко-вежливой, безупречно точной манерой речи.

Затем расспросы замедлились, и в конце концов повисла долгая пауза, тишина облаком витала в комнате, нарушаемая только звонким

тиканьем кокетливых часов.

Верагут утер потный лоб. Он чувствовал, что настало время узнать правду, а поскольку врач сидел как каменный и молчал, его парализовал болезненный страх. Он покрутил головой, словно воротничок рубашки душил его, и наконец выдавил:

— Все скверно?

Доктор поднял голову посмотрел на него. Лицо желтое, усталое, взгляд блеклый.

— Да, увы, — кивнул он. — Скверно, господин Верагут.

Он более не отводил глаз от художника. Выжидающе, внимательно смотрел, как тот побледнел и уронил руки. Смотрел, как волевое костистое лицо становится слабым и беспомощным, как рот теряет напряженную твердость, а невидящий взгляд блуждает вокруг. Потом рот скривился, губы легонько задрожали, веки упали, будто в беспамятстве. Доктор смотрел и ждал. Но вот рот художника снова обрел твердость, в глазах сверкнула воля, только бледность осталась. Верагут был готов выслушать его.

— Что с ним, доктор? Не надо меня щадить, говорите прямо… Вы ведь не думаете, что Пьер должен умереть?

Доктор придвинулся со своим креслом чуть ближе. Заговорил тихо, но решительно и отчетливо:

— Этого никто сказать не может. Но если я не ошибаюсь, малыш очень опасно болен.

Верагут смотрел ему в глаза:

— Он должен умереть? Я хочу знать, думаете ли вы, что он должен умереть. Понимаете? Я хочу знать.

Сам того не сознавая, художник встал и словно с угрозой шагнул вперед. Доктор положил руку ему на плечо, он вздрогнул и, как бы устыдившись, снова опустился в кресло.

— Говорить так нет смысла, — начал доктор. — О жизни и смерти решаем не мы, тут и мы, врачи, ежедневно сталкиваемся с сюрпризами. Каждый больной, пока он дышит, заслуживает надежды, знаете ли. Иначе куда бы мы пришли!

Верагут терпеливо кивнул и только спросил:

— Так что же с ним?

Врач коротко кашлянул.

— Если я не ошибаюсь, у него воспаление оболочек мозга, менингит.

Верагут сидел не шевелясь, только шепотом повторил это слово. Потом встал, протянул врачу руку.

— Значит, менингит, — проговорил он, медленно и осторожно, потому что губы дрожали как от озноба. — Это вообще излечимо?

— Все излечимо, господин Верагут. Иной ложится в постель с зубной болью и через несколько дней умирает, другой при всех симптомах тяжелейшего недуга выздоравливает.

— Да-да. Выздоравливает! Я пойду, господин доктор. И так уже доставил вам много хлопот. Но менингит, стало быть, неизлечим?

— Дорогой господин…

— Простите. Наверно, вы лечили и других детей с ме… с этой болезнью? Да? Ну вот видите!.. Эти дети живы?

Доктор молчал.

— Хотя бы двое или один живы?

Ответа не было.

Доктор как бы нехотя повернулся к столу, открыл один из ящиков.

— Не надо так сразу сдаваться! — сказал он уже другим тоном. — Выздоровеет ли ваш ребенок, мы не знаем. Он в опасности, и мы должны помогать ему, насколько это возможно. Мы все должны ему помогать, понимаете, и вы тоже. Вы мне нужны… Вечером я опять заеду. На всякий случай возьмите снотворный порошок, может

быть, он понадобится вам самому. А теперь послушайте: малышу нужен полный покой и усиленное питание. Это главное. Подумайте об этом, пожалуйста.

— Конечно. Я ничего не забуду.

— Если у него возникнут боли или он станет слишком беспокоен, помогут прохладные ванны или компрессы. У вас есть пузырь для льда? Я вам привезу. Лед-то у вас найдется? Вот и хорошо… Будем надеяться, господин Верагут! Сейчас нам никак нельзя падать духом, мы все должны быть на посту. Верно?

Выражение лица Верагута внушило ему доверие, и он проводил художника к выходу.

— Хотите взять мой экипаж? Мне он понадобится не раньше пяти.

— Спасибо, я пешком.

Верагут зашагал вниз по улице, по-прежнему безлюдной. Из того же открытого окна все еще доносились унылые фортепианные экзерсисы. Он посмотрел на часы, минуло всего полчаса. Медленно он продолжил путь, улица за улицей, почти через половину города. Робел выйти за городскую черту. Здесь, в этом нелепом убогом скопище домов, обитали медицинский запах и болезнь, беда, и страх, и смерть, здесь сотни без-

радостно влачащих жизнь улочек сообща несли все тяготы, здесь ты не одинок. Но за пределами города, казалось ему, под деревьями и ясным небом, среди звуков косьбы и стрекота кузнечиков, мысль обо всем этом наверняка будет куда страшнее, бессмысленнее, отчаяннее.

Свечерело, когда он пыльный и смертельно усталый вернулся домой. Доктор уже заезжал, но госпожа Адель была спокойна и, видимо, ничего пока не знала.

За ужином Верагут говорил с Альбером о лошадях. Снова и снова находил, что сказать, и Альбер охотно отвечал. Они видели, что отец очень устал, но и только. А он с почти издевательской злостью думал: у меня в глазах могла бы читаться смерть, а они бы не заметили! Вот моя жена и мой сын! А Пьер умирает! Мысли печально бежали по кругу, меж тем как он неповоротливым языком выговаривал слова, которые никого не интересовали. Потом добавилась еще одна мысль: так и должно быть! Я хочу испить свою му́ку в одиночку, до последней горькой капли. Буду сидеть и притворяться, меж тем как мой малыш умирает. И если останусь жив, ничто уже не будет меня связывать, ничто не сможет причинить мне боль, и тогда я уйду и никогда в жизни не стану больше

лгать, не стану верить любви, выжидать и малодушничать… Буду просто жить, действовать, двигаться вперед, ни на миг не успокаиваясь, не покоряясь вялости.

С мрачным наслаждением он чувствовал в сердце жгучую боль, неистовую, невыносимую, но чистую и огромную, никогда и ничего не чувствовал он вот так, и в пламени божественного огня его мелкая, безрадостная, неискренняя и уродливая жизнь сгорала без следа, не заслуживая более ни помысла, ни даже укора.

Еще один вечерний час он просидел вот так в полутемной детской подле мальчика, так провел жгуче-бессонную ночь, со страстью предаваясь гложущему страданию, ни на что не надеясь, желая лишь одного — чтобы этот огонь поглотил его, выжег дочиста, до последней крупицы плоти. Он понимал: иначе нельзя, он должен отдать самое любимое, самое лучшее, самое чистое, что имел, должен увидеть, как оно умирает.

Глава шестнадцатая

Пьеру было плохо, и отец сидел подле него почти целый день. У мальчика постоянно болела голова, дышал он учащенно, и при каждом вздохе с его губ слетал короткий испуганный стон. Порой худенькое тело содрогалось в коротких спазмах или резко выгибалось дугой. Потом он опять долго лежал совершенно неподвижно, пока на него не нападала судорожная зевота. Тогда он засыпал на час, а проснувшись, опять начинал свои регулярные, жалобные стоны при каждом вздохе.

Он не слышал, что ему говорили, а когда его, едва ли не силой, усаживали и кормили, ел с механическим равнодушием. В слабом свете, поскольку шторы были плотно задернуты, Верагут долго сидел, с сосредоточенным вниманием склонясь над ребенком, и, леденея сердцем, смотрел, как в красивом знакомом личике одна за другой стираются, исчезают милые нежные черты. Осталось лишь бледное не по годам старое лицо, зловещая маска страдания, с упрощенными чертами, в которых читались только боль,

отвращение и глубокий ужас.

Порой отец видел, как в мгновения забытья это искаженное лицо смягчалось и в нем проступал отблеск утраченного очарования здоровых дней, и тогда он смотрел неотрывно, с алчной любовной жаждой, снова и снова запечатлевая в памяти угасающую прелесть. Тогда ему казалось, что за всю свою жизнь он не ведал, что такое любовь, никогда, до этих минут бдения и созерцания.

Госпожа Адель по-прежнему оставалась в неведении, не сразу она заметила напряжение и странную отрешенность Верагута, но в конце концов что-то заподозрила, хотя опять-таки лишь спустя дни начала догадываться, в чем дело. И однажды вечером, когда он вышел из комнаты Пьера, отвела его в сторону и коротко сказала, с обидой и горечью:

— Что же такое с Пьером? Что? Я вижу, тебе что-то известно.

Он посмотрел на нее как бы из пучины рассеянности и сухими губами произнес:

— Я не знаю, дитя мое. Он тяжело хворает. Разве ты не видишь?

— Вижу. И хочу знать, что с мальчиком! Вы обращаетесь с ним прямо как со смертельно больным, ты и доктор. Что он тебе сказал?

— Сказал, что дело плохо и мы должны очень о нем заботиться. В бедной его голове случилось что-то вроде воспаления. Завтра мы попросим доктора рассказать подробнее.

Она прислонилась к книжному шкафу, вцепилась рукой в складки зеленой шторы над собой. Поскольку она молчала, Верагут терпеливо стоял, лицо серое, глаза воспалены. Руки слегка дрожали, но он держался, в лице читалось подобие улыбки, странная смесь смирения, терпения и учтивости.

Медленно она подошла к нему. Положила ладонь на плечо, и тут у нее словно бы подкосились ноги. Едва внятно она прошептала:

— Думаешь, он умрет?

На губах у Верагута по-прежнему играла слабая, неловкая улыбка, но по щекам одна за другой быстро катились слезинки. Он лишь едва заметно кивнул, а когда она, потеряв опору, соскользнула на пол, поднял ее, помог сесть в кресло.

— Никто этого в точности знать не может, — медленно, с трудом сказал он, будто с отвращением повторяя давний урок, который давно ему надоел. — Нельзя падать духом. — И немного погодя, когда она собралась с силами и выпрямилась в кресле, машинально повторил: — Нельзя

падать духом.

— Да, — кивнула она, — да, ты прав. — И помолчав: — Не может этого быть. Не может.

Внезапно она опять встала, выпрямилась, глаза ожили, черты наполнились пониманием и печалью.

— Ты ведь не вернешься, правда? — громко сказала она. — Я знаю. Хочешь нас оставить?

Он сознавал, что в этот миг неискренность недопустима. И потому коротко и глухо ответил:

— Да.

Она покачивала головой, словно что-то обдумывала, сосредоточенно, но безуспешно. И то, что она сказала, не было итогом размышлений, просто безотчетно выплеснулось из смутной и безутешной минутной стесненности, из тоскливой усталости, а в первую очередь из неясной потребности что-то исправить и сделать добро кому-нибудь, кто для этого еще достижим:

— Да, я так и думала. Но послушай, Йоханн, Пьер не может умереть! Не может сейчас все-все разом рухнуть! И знаешь… мне бы хотелось сказать тебе еще вот что: когда поправится, он будет твоим. Слышишь? Он останется с тобой.

Верагут понял не сразу. Лишь мало-помалу осознал, что́ она сказала, осознал, что теперь все,

о чем они спорили и ради чего он год за годом медлил и страдал, — теперь, когда слишком поздно, все это отдают ему.

Несказанная бессмыслица — мало того что он вдруг получил все, в чем она так долго ему отказывала, вдобавок она согласилась отдать Пьера именно сейчас, когда мальчик во власти смерти. И, значит, умрет для него вдвойне! От этакого гротеска и абсурда в самом деле впору горько расхохотаться.

Но Адель, без сомнения, говорила совершенно серьезно. Очевидно, еще не вполне верила, что Пьер умрет. Это было доброе дело, огромная жертва, которую она в мучительном смятении минуты пожелала принести под воздействием какого-то стихийного доброго порыва. Верагут видел, как она страдает, как бледна, с каким трудом держится на ногах. И он не вправе показать, что ощущает ее жертву, ее странное запоздалое великодушие как смертельную издевку.

В ней шевельнулось смятение: отчего он не говорит ни слова? Отчего молчит? Не поверил ей? Или стал настолько чужим, что не примет от нее ничего, в том числе и эту жертву, величайшую, какую она могла ему принести?

Ее лицо уже подергивалось от разочарования,

но в ту же секунду он сумел овладеть собой. Взял ее руку, легонько коснулся ее холодными губами и сказал:

— Спасибо тебе. — Ему пришла в голову одна мысль, и уже более теплым тоном он добавил: — В таком случае я тоже имею право ухаживать за Пьером. Позволь мне посидеть с ним ночью?!

— Будем дежурить по очереди, — решительно ответила она.

Этим вечером Пьер был очень спокоен. На столе горел маленький ночник, тусклый свет которого освещал лишь часть комнатки, ближе к двери теряясь в коричневом сумраке. Верагут долго прислушивался к дыханию мальчика, потом прилег на узком диванчике, который велел принести.

Ночью, около двух, госпожа Адель проснулась, зажгла свечу и встала. Надела шлафрок, со свечой в руке прошла в комнату Пьера. Все было тихо. Ресницы Пьера легонько дрогнули, когда свет упал на его лицо, но он не проснулся. А на диване, одетый, слегка скорчившись, спал ее муж.

Она посветила в лицо и ему, секунду-другую постояла рядом. Видела его лицо искренним, непритворным, со всеми морщинами и посеревшими волосами, с обмякшими щеками и

темными кругами в подглазьях.

И он тоже постарел, подумала она наполовину с сочувствием, наполовину с удовлетворением, испытывая соблазн погладить его по лохматым волосам. Но сдержалась. Бесшумно вышла из комнаты, а когда через несколько часов, уже утром, пришла снова, он давно сидел на посту у кровати Пьера, и его рот и взгляд, каким он поздоровался, вновь обрели твердость, исполненные той таинственной силы и решимости, что панцирем окружали его уже который день.

У Пьера день выдался плохой. Он долго спал, а потом лежал с открытыми глазами, с застывшим взглядом, пока не навалилась новая волна боли. Он метался на постели, стискивал кулачки, прижимал их к глазам, лицо было то мертвенно-бледным, то горячечно-красным. Потом он закричал, бессильно бунтуя против нестерпимых мук, и кричал так долго и так жалобно, что отец, бледный и сломленный, в конце концов был вынужден уйти, не мог более слушать.

Он вызвал доктора, который в этот день приезжал еще дважды и вечером привез сиделку. Пьер под вечер впал в беспамятство, сиделку отослали спать, а отец с матерью всю ночь бодрствовали с ощущением, что конец уже недалек. Малыш не

шевелился, дышал прерывисто, но глубоко.

Верагут и его жена оба думали о том давнем времени, когда Альбер тяжело захворал и они вдвоем ухаживали за ним. И оба чувствовали, что значимые переживания повториться не могут. Мягко и слегка устало они шепотом разговаривали, сидя у постели больного, но ни словом не упоминали о минувшем, ни словом не упоминали о том времени. Обоих пугало сходство тогдашней и нынешней ситуации, но сами они изменились, стали другими людьми, не теми, что когда-то, в точности как теперь, не смыкали глаз и страдали у постели смертельно больного ребенка.

Между тем Альбер, удрученный постоянной молчаливой тревогой в доме, не мог уснуть. Среди ночи он на цыпочках, полуодетый, появился в дверях, вошел и возбужденным шепотом спросил, не может ли он что-нибудь сделать, как-нибудь помочь.

— Спасибо, — сказал Верагут, — но сделать ничего нельзя. Иди спать и оставайся здоров!

Но когда сын ушел, попросил жену:

— Пойди ненадолго к нему, утешь.

Она охотно так и сделала, чувствуя благодарность за то, что он об этом подумал.

Лишь под утро она уступила уговорам мужа и прилегла. На рассвете пришла сиделка, сменила его. В состоянии Пьера ничего не изменилось.

Верагут нерешительно шел через парк, спать ему не хотелось. Но воспаленные глаза и ощущение духоты и вялости не давали покоя. Он искупался в озере, велел Роберту подать кофе. Потом в мастерской рассмотрел свой лесной этюд. Работа свежая и живая, но все же не то, что он искал, а теперь задуманной картине и живописи в Росхальде вообще конец.

Глава семнадцатая

Уже который день состояние Пьера не менялось. Один-два раза на дню его мучили судороги и приступы боли, остальное время он лежал в полузабытьи. Между тем после целой череды гроз тепло иссякло, похолодало, и под моросящим дождем сад и весь мир утратили сочный летний блеск.

Эту ночь Верагуту наконец случилось провести в собственной постели, и спал он крепко и долго. И только одеваясь при открытых окнах, ощутил промозглый холод, ведь в последние дни ходил будто в горячечной усталости. Он высунулся из окна, зябко поеживаясь, вдохнул дождливый воздух тусклого утра. Пахло сырой землей и близкой осенью, и он, привыкший остро чувствовать тончайшие знаки времен года, с удивлением сообразил, что это лето ускользнуло от него незаметно, почти без следа. Казалось, он провел в комнате больного Пьера не дни и ночи, но месяцы.

Накинув прорезиненный плащ, он направился в большой дом. Узнал, что мальчик проснулся

рано, но уже целый час опять спит, и потому позавтракал вместе с Альбером. Старший сын принимал болезнь Пьера очень близко к сердцу и, стараясь не подавать виду, страдал от сумрачной атмосферы болезни и тяжкого горестного уныния в доме.

Когда Альбер ушел к себе заниматься школьными заданиями, Верагут отправился к Пьеру — мальчик еще спал — и сел на свое место у постели. В эти дни ему порой хотелось, чтобы все поскорее кончилось, хотя бы ради ребенка, который давно не говорил ни слова и выглядел таким измученным и повзрослевшим, будто сам знал, что ему уже не помочь. И все же он не желал упустить ни часа и ревностно дежурил у постели больного. Ах, как часто маленький Пьер приходил когда-то к нему и заставал его усталым или безразличным, погруженным в работу или озабоченным, как часто он рассеянно и безучастно держал в ладони маленькую худую ручку и почти не слушал ребенка, каждое слово которого стало теперь бесценным сокровищем! Тут ничего не исправишь. Но теперь, когда бедный малыш лежал в муках и его незащищенное, избалованное сердечко единоборствовало со смертью, теперь, когда ему самому за считаные дни пришлось

изведать все оцепенение, всю боль, весь страх и отчаяние, какими болезнь, слабость, старение и близость смерти пугают и гнетут человеческое сердце, — теперь он хотел неотлучно быть рядом. Нельзя ему отсутствовать, нельзя быть вдали, если настанет миг, когда малыш спросит о нем и он сможет сослужить ему маленькую службу, дать немного любви.

И нынче утром он был вознагражден. Этим утром Пьер открыл глаза, улыбнулся ему и слабым, нежным голосом сказал:

— Папа!

У художника бурно забилось сердце, когда он наконец вновь услышал этот голос, которого ему так давно недоставало, который позвал его и узнал, но стал таким тоненьким и слабым. Этот голос так давно только стонал и жалобно лепетал в глухом страдании, и от радости он ужасно испугался.

— Пьер, милый ты мой!

Он с нежностью наклонился, поцеловал улыбающиеся губы. Пьер выглядел свежее и радостнее, нежели он надеялся когда-нибудь его увидеть, глаза были ясные, смотрели с полным сознанием, глубокая складка между бровей почти исчезла.

— Солнышко мое, тебе лучше?

Мальчик улыбнулся и посмотрел на него будто с удивлением. Отец протянул ему руку, и Пьер вложил в нее свою, его рука никогда не была сильной, а уж теперь была такая маленькая, белая, усталая.

— Ну вот, сейчас позавтракаешь, а потом я расскажу тебе сказку.

— О да, о господине Шпорнике и о летних птичках, — сказал Пьер, и снова отцу показалось чудом, что он говорил, и улыбался, и опять принадлежал ему.

Верагут принес завтрак, Пьер с удовольствием принялся за еду, даже дал себя уговорить на второе яйцо. А затем потребовал любимую книжку с картинками. Отец осторожно отодвинул одну штору, блеклый свет дождливого дня проник в комнату, и Пьер постарался сесть, чтобы рассмотреть картинки. Судя по всему, болей он не испытывал, внимательно рассмотрел несколько картинок, приветствуя самые любимые короткими радостными возгласами. Потом он устал сидеть, и глаза опять немножко заболели. С помощью отца он снова лег и попросил почитать ему стишки, прежде всего про Живучку, которая приползает к аптекарю Плющику:

Ах, аптекарь Плющик!

Ты лечишь всех Живучек.
Я вяну понемножку,
Меня не держат ножки.
Сделай притиранье,
Облегчи страданье![9]

Верагут старался изо всех сил, читал бодро и задорно, как только мог, и Пьер благодарно улыбался. Однако стихи словно бы утратили былую силу, словно за то время, что их не слышал, Пьер стал на годы старше. С картинками и стишками вернулась память о многих светлых, радостно смеющихся днях, но сама давняя радость и озорное удовольствие вернуться не могли, и мальчик, не отдавая себе в этом отчета, заглядывал в собственное детство, еще недавно, дни и недели назад, вполне реальное, с тоской и печалью взрослого человека. Он был уже не ребенком. Был больным, мир реальности уже стал ему чужд и далек, а душа его, обретя дар ясновидения, уже везде и всюду боязливо чуяла подстерегающую смерть.

Однако это утро полнилось светом и счастьем, после стольких ужасных дней. Пьер был тих и

---

9 Примечания: 9
Перевод Э. Венгеровой.

благодарно-спокоен, и Верагута против воли снова и снова овеивало предчувствие надежды. В конце концов мальчик, возможно, все-таки останется жив! И тогда он будет принадлежать ему, ему одному!

Приехал доктор, долго пробыл у постели Пьера, не терзая его ни вопросами, ни осмотром. Подошла и госпожа Адель, разделившая с сиделкой последнее дежурство. Удивительное улучшение ошеломило ее, она так крепко стиснула руки Пьера, что мальчику было больно, и даже не пыталась сдержать избавительные слезы, катившиеся из глаз. Альберу тоже разрешили ненадолго зайти.

— Поистине чудо, — сказал Верагут доктору. — Вас это не удивляет?

Доктор кивнул и приветливо улыбнулся. Он не возразил, но и чрезмерной радости не выказал. Художника тотчас снова одолели сомнения. Он следил за каждым движением врача и, когда тот улыбался, читал в его глазах холодную настороженность и сдержанную боязнь. Потом он в чуть приоткрытую дверь подслушал разговор доктора с сиделкой и, хотя не разобрал почти ни слова, по строгому, серьезному тону их шепота сделал вывод, что опасность отнюдь не миновала.

В конце концов он проводил доктора до экипажа и на прощание спросил:

— Вы полагаете, улучшение временное?

Некрасивое сдержанное лицо обернулось к нему:

— Радуйтесь, что бедному мальчику дано несколько добрых часов! Надо надеяться, что так будет достаточно долго.

В умных его глазах не было ни малейшей надежды.

Поспешно, чтобы не потерять ни мгновения, Верагут вернулся в комнату больного. Мать как раз рассказывала историю о Спящей Красавице, и он сел рядом, наблюдая, как Пьер живо следит за сказкой.

— Рассказать еще что-нибудь? — спросила госпожа Адель.

— Нет, — с легкой усталостью ответил мальчик. — Попозже.

Она ушла на кухню, а отец взял руку Пьера. Оба молчали, но время от времени Пьер с легкой улыбкой поднимал глаза, будто радовался, что отец с ним.

— Теперь тебе намного лучше, — ободрительно сказал Верагут.

Пьер чуточку покраснел, шевеля пальцами в

ладони отца.

— Ты любишь меня, папа, правда?

— Конечно, сокровище мое. Ты мой любимый сынок, и когда ты выздоровеешь, мы навсегда останемся вместе.

— Да, папа… Однажды я был в саду, совсем один, и вы все совершенно меня не любили. Но вы должны меня любить, должны мне помочь, если опять станет больно. О, мне было так больно!

Он полузакрыл глаза и говорил так тихо, что Верагуту пришлось склониться к его губам, чтобы расслышать.

— Вы должны мне помочь. Я буду слушаться, всегда, только не браните меня! Вы же не будете меня бранить, да? Ты скажи об этом и Альберу.

Веки его дрогнули, снова открылись, но взгляд потемнел, зрачки расширились.

— Спи, малыш, спи! Ты устал. Спи, спи, спи.

Верагут бережно закрыл Пьеру глаза и замурлыкал песенку, как иной раз делал, когда Пьер был младенцем. И мальчик как будто бы уснул.

Через час пришла сиделка, чтобы попросить Верагута к столу, она пока побудет с Пьером. Он пошел в столовую, спокойно и рассеянно взял тарелку супа, едва слушая, о чем говорят за столом. Боязливо-нежный шепот ребенка сладостно

и печально звучал у него в голове. Ах, сколько же сотен раз он мог бы вот так поговорить с Пьером, ощутить наивное доверие беспечной любви, но никогда этого не делал!

Машинально он потянулся за бутылкой, собираясь налить себе воды. Тут из комнаты Пьера донесся громкий, пронзительный крик, рассекший печальные мечты Верагута. Все, побледнев лицом, вскочили на ноги, бутылка упала, прокатилась по столу и со звоном упала на пол.

Одним прыжком Верагут выскочил за дверь.

— Пузырь со льдом! — крикнула сиделка.

Он ничего не слышал. Ничего, кроме жуткого отчаянного крика, который врезался в его сознание как нож в рану. Он ринулся к постели.

Пьер лежал белый как полотно, с мучительно перекошенным ртом, худенькое тело корчилось в яростных судорогах, глаза смотрели в беспамятном ужасе. Внезапно он снова закричал, еще более неистово и надрывно, выгнулся дугой, так что кровать задрожала, упал и снова выгнулся, до предела напряженный от боли, словно прутик в зловредных мальчишечьих руках.

Все оцепенело замерли в ужасе и беспомощности, пока приказы сиделки не навели порядок. Верагут стоял на коленях у постели, стараясь не

дать Пьеру в корчах пораниться. Однако правая рука мальчика все же ударилась о металлическое ребро кровати и окрасилась кровью. Потом он обмяк, перевернулся на живот, молча вцепился зубами в подушку и принялся равномерно бить левой ногой по матрасу. Поднимал ногу, снова ронял ее, ударяя по постели, секунду лежал спокойно и снова начинал то же движение, десять раз, двадцать и снова, и снова.

Женщины готовили компрессы, Альбера отослали прочь. Верагут все еще стоял на коленях и смотрел, как нога под одеялом в зловещем ритме поднималась, вытягивалась и падала. Ведь это его ребенок, всего несколько часов назад его улыбка была как луч солнца, а умоляющий ласковый лепет вот только что до глубины души растрогал его и заворожил. А сейчас он был просто механически дергающейся плотью, несчастным беспомощным комочком боли и страдания.

— Мы с тобой! — в отчаянии воскликнул художник. — Пьер, дитя мое, мы с тобой, мы хотим помочь тебе!

Но путь к душе мальчика был уже отрезан, задушевные утешения и бессмысленные нежные нашептывания уже не проникали в страшное одиночество умирающего. Далеко-далеко, в ином

мире, он, изнывая от жажды, брел адским долом, полным муки и смертной жути, и, может статься, кричал там, призывая того, кто стоял подле него на коленях и с радостью принял бы любые мучения, лишь бы помочь своему ребенку.

Все знали, что это конец. С того первого крика, напугавшего их, переполненного бездонным, животным страданием, на каждом пороге и в каждом окне дома стояла смерть. Никто о ней не говорил, но все узнали ее, в том числе и Альбер, и служанки внизу, и даже собака, которая тревожно металась туда-сюда под дождем во дворе и порой испуганно повизгивала. И хотя все старались, кипятили воду, прикладывали лед и отчаянно суетились, то была уже не борьба, надежда уже исчезла.

Пьер лежал в беспамятстве. Дрожал всем телом, точно в ознобе, порой слабо невнятно кричал, и снова и снова, после каждой усталой паузы, принимался бить ногой, ровно, как часовой механизм.

Так минули день и вечер, а затем и ночь, и на рассвете, когда маленький воин исчерпал свои силы и сдался врагу, родители у его постели молча посмотрели друг на друга утомленными от бессонницы глазами. Йоханн Верагут приложил

ладонь к сердцу Пьера и уже не ощутил его стука, ладонь его лежала на худенькой груди ребенка, пока та не похолодела и не остыла.

Тогда он легонько погладил сплетенные руки госпожи Адели и прошептал:

— Все кончено.

А когда увел жену прочь из комнаты, поддерживая ее и слушая ее хриплые рыдания, когда передал ее сиделке и прислушался у двери Альбера, спит ли тот, когда вернулся к Пьеру и уложил умершего поудобнее, он чувствовал, как половина его жизни отмерла, отошла в вечный покой.

Он сосредоточенно предпринял все необходимое и в конце концов препоручил покойного сиделке, а сам прилег и погрузился в короткий глубокий сон. Когда в окно комнаты хлынул свет дня, он проснулся, тотчас встал и приступил к последней работе, которую еще намеревался сделать в Росхальде. Прошел в комнату Пьера, раздвинул все шторы, так что холодный осенний день озарил белое личико и застывшие руки его любимца. Потом сел возле постели и в последний раз зарисовал на картоне черты, которые так часто изучал, которые знал с самого нежного возраста и любил и которые теперь, повзрослевшие и упрощенные смертью, были еще полны

неизъясненного страдания.

Глава восемнадцатая

Солнце пламенно сияло в разрывах вялых туч, уставших сыпать дождем, когда маленькое семейство возвращалось домой после похорон Пьера. Госпожа Адель выпрямившись сидела в экипаже, заплаканное лицо странно светлым и недвижным пятном выделялось на фоне черной шляпы и закрытого черного траурного платья. У Альбера глаза опухли, он не выпускал руку матери из своей.

— Итак, завтра вы оба уезжаете, — ободряюще сказал Верагут. — Не беспокойтесь, я сделаю все, что здесь еще необходимо. Крепись, мой мальчик, вновь настанут более добрые времена!

В Росхальде они вышли из экипажа. Мокрые ветви каштанов искрились на солнце, слепили глаза. Жмурясь от яркого света, они вошли в тихий дом, где ожидали перешептывающиеся служанки в траурных платьях. Комнату Пьера отец запер.

Их ожидал горячий кофе, все трое сели к столу.

— Я заказал вам комнаты в Монтрё, — снова начал Верагут. — Уж пожалуйста, отдохните как

следует! Я тоже уеду, как только закончу здесь дела. Роберт останется в Росхальде, будет присматривать за домом. Я дам ему мой адрес.

Никто его не слушал, глубокая, постыдная будничность сковывала всех, точно стужа. Госпожа Адель, устремив неподвижный взгляд на стол, собирала крошки со скатерти. Она замкнулась в своей скорби, и ничто ее не трогало, а Альбер подражал матери. С тех пор как Пьера не стало, видимость единения в семье опять исчезла, как с лица хозяина, силой державшего себя в руках, исчезает учтивость, когда наконец уезжает грозный могущественный гость. Один только Верагут, наперекор всему, продолжал играть свою роль, не снимал маску. Он опасался, как бы какая-нибудь женская сцена не испортила ему расставание с Росхальде, и в душе мечтал, чтобы эти двое поскорее уехали.

Никогда он не был так одинок, как вечером этого дня, сидя у себя в комнате. В большом доме жена собирала чемоданы. Он написал письма, завершил дела, написал Буркхардту, который еще не знал о смерти Пьера, подготовил последние распоряжения и доверенности для адвоката и банка. Письменный стол был прибран, и он поставил перед собою портрет умершего Пьера.

Теперь мальчик покоился в земле, и кто знает, сумеет ли Верагут когда-нибудь вновь вот так прикипеть сердцем к другому человеку, сумеет ли вот так разделить страдания другого. Он был теперь один.

Он долго смотрел на свой рисунок, на ввалившиеся щеки, на веки, укрывшие впалые глаза, на маленький сжатый рот, на страшно исхудалые детские руки. Потом запер рисунок в мастерской, надел пальто и вышел на улицу. Парк уже тонул в ночной тишине. В большом доме кое-где светились окна, к нему они касательства не имели. Но под черными каштанами, в маленькой, мокрой от дождя беседке, на гравийной площадке и в цветнике еще витало немного жизни и воспоминаний. Здесь Пьер когда-то — с тех пор прошли годы? — показывал ему пойманную мышку, а вон там, возле флоксов, он разговаривал со стайками голубых мотыльков и придумывал для цветов фантастические нежные имена. Повсюду — во дворе возле птичника и собачьей конуры, на лужайке и в липовой аллее — он жил своей маленькой жизнью, играл в свои игры, здесь его легкий мальчишечий смех и вся прелесть его упрямого самостоятельного существа были у себя дома. Здесь он сотни раз, никем не замеченный,

наслаждался своими детскими радостями и переживал свои сказки, здесь он, наверно, иной раз плакал и сердился, когда чувствовал себя заброшенным или непонятым.

В темноте Верагут бродил по саду, наведался во все места, сохранившие для него память о сыне. В конце концов он опустился на колени возле Пьеровой песочницы и остудил руки во влажном песке, нащупал какую-то деревяшку, вытащил ее и, увидев лопатку Пьера, безвольно сник и впервые за эти три страшных дня смог наконец свободно и безудержно заплакать.

Утром у него состоялся разговор с госпожой Аделью.

— Утешься, — сказал он ей, — и не забывай, что Пьер был моим. Ты уступила его мне, и я еще раз благодарю тебя за это. Я уже тогда знал, что он умрет, — но с твоей стороны это было благородно. А теперь живи так, как тебе угодно, только не будь опрометчива! Оставь Росхальде покамест за собой, не спеши продавать его — вдруг передумаешь. Поговори с нотариусом, он полагает, что цена на землю тут скоро поднимется. Желаю удачи! Мне здесь ничего более не принадлежит, кроме вещей в мастерской, позднее я их заберу.

— Спасибо… А ты? Ты никогда уже сюда не

приедешь?

— Никогда. Нет смысла. И еще я хотел сказать тебе: я не держу на тебя обиды. Знаю, во всем виноват я сам.

— Не говори так! Ты желаешь мне добра, но тем только мучаешь меня. Ты же останешься совсем один! Да, если бы Пьер мог быть с тобой. А так… нет, так не должно было случиться! Я тоже виновата, я знаю…

— Мы все искупили, дитя мое, в эти дни. Не тревожься, роптать в самом деле не на что. Альбер теперь целиком твой. А я… у меня есть работа. С нею все можно выдержать. И ты будешь счастливее, чем все эти долгие годы.

Он был так спокоен, что и она превозмогла себя. Ах, как же много, как бесконечно много она бы хотела сказать ему, за что могла бы поблагодарить и в чем упрекнуть. Но она понимала, он прав. Все, что она покуда ощущала как жизнь и горькое настоящее, для него уже явно стало несущественным прошлым. Теперь надо успокоиться и дать былому миновать. И она с терпеливым вниманием слушала его распоряжения, удивляясь, как он все продумал и ни о чем не забыл.

О разводе не было сказано ни слова. С этим можно повременить до его возвращения из Индии.

После обеда они поехали на вокзал. Там ждал Роберт с множеством чемоданов, и в шуме и копоти большого стеклянного дебаркадера Верагут посадил обоих в вагон, купил Альберу журналы и вручил багажную квитанцию, дождался под окном, когда поезд тронется, приветственно снял шляпу и смотрел вслед, пока Альбер не отошел от окна.

На обратном пути Роберт рассказал ему о расторжении своей опрометчивой помолвки. Дома его встретил столяр, которому предстояло сколотить ящики для его последних картин. Когда их упакуют и отошлют, он тоже уедет. Ему не терпелось отправиться в дорогу.

Наконец и столяр ушел. В господском доме Роберт вместе с одной из служанок, которая пока что была здесь, укрывал мебель, запирал окна и ставни.

Верагут медленно обошел мастерскую, гостиную и спальню, потом — озерцо и парк. Сотни раз он прогуливался здесь, однако нынче все — дом и сад, озерцо и парк, — словно бы отзывалось гулким эхом одиночества. Ветер холодно шелестел в желтеющей листве, гнал по небу низкие, пухлые дождевые тучи. Художник зябко вздрогнул. Теперь ему здесь не на кого оглядываться, не перед

кем храбриться, и лишь теперь, в зябком одиночестве, он почувствовал тревоги и ночные бдения, лихорадочную дрожь и всю разрушительную усталость последнего времени. Почувствовал не только в голове и в теле, но глубже, в душе. Последние переливы огней юности и надежды погасли; но холодная изоляция и жестокое отрезвление не ощущались как кошмар.

Неспешно шагая по сырым дорожкам, он упорно прослеживал вспять нити своей жизни, простую ткань которой никогда прежде не видел так отчетливо и умиротворенно. И без злости пришел к выводу, что шел всеми этими путями в слепоте. Ведь совершенно ясно видел теперь, что, невзирая на все попытки, невзирая на так и не угасшую надежду, прошел мимо сада жизни. Никогда не ведал любви во всей ее полноте, вкусил ее лишь в эти последние дни. У постели своего умирающего ребенка, слишком поздно, он пережил свою единственную настоящую любовь, впервые забыл о себе, одолел себя. И теперь навсегда сохранит это переживание как маленькое бесценное сокровище.

Ему осталось только его искусство, и в нем он сейчас был уверен, как никогда прежде. Ему осталось утешение тех сторонних зрителей,

которым не дано завладеть жизнью и испить ее до дна, осталась странная, холодная и все же неукротимая страсть ви́дения, наблюдения и сокровенно-гордого созидания. Таков итог и ценность его неудавшейся жизни — неотступное одиночество и холодный восторг воссоздания, и отныне ему суждено неуклонно следовать за этой звездою.

Он глубоко вдыхал влажный, горьковато-душистый воздух парка, и ему казалось, что с каждым шагом он отталкивает от себя прошлое, будто ненужную лодку, ведь берег уже достигнут. В его испытании и познании не было ни малейшего смирения и покорности; полный упорства и предприимчивого азарта он смотрел навстречу новой жизни, нет, он более не станет ощупью блуждать в потемках, но крутой, дерзкой дорогой поднимется к вершинам. Поздно и, пожалуй, с большей горечью, чем обычно бывает у мужчин, он расстался со сладостным сумраком юности. И теперь стоял нищий и запоздалый средь яркого дня, в твердой решимости не потерять ни единого бесценного его часа.